

ГРАНИ

GRANI

69

1968

Postverlagsort: Frankfurt/Main, November 1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ“

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Сочинения в одном томе

Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кречетовка. Материн двор. Для пользы дела. Этюды и крохотные рассказы. Захар Калита. В книге 320 стр. В твердом холщевом переплете с золотым тиснением. Художественное оформление суперобложки А. Русака.

Цена: 18.-- н. м., 22 фр. фр.

В США и Канаде 4.50 долл.

Раковый корпус

В 2-х ЧАСТЯХ

Это издание — небольшого формата, на тонкой бумаге, в мягком переплете — сделано так, чтобы облегчить его путь к читателю в России.

«Раковый корпус» издан в двух томиках: 1-ый том 317 стр., 2-ой том 225 стр. У каждого есть возможность передать эту книгу в Россию (например, через туриста, едущего в Россию), или дать ее человеку, приехавшему из России в качестве туриста, спортсмена и т. д.

ВСЕГДА НУЖНО ИМЕТЬ ЛИШНИЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПОД РУКАМИ!

Цена первой части: 8 н. м., 10 фр. фр., в США и Канаде 2.50 долл.

Цена второй части: 7 н. м., 9 фр. фр., в США и Канаде 2.25 долл.

Цена обеих частей: 15 н. м., 19 фр. фр., в США и Канаде 4.75 долл.

А. КОРИН

Советская Россия в 40-60 годах

Содержание книги состоит из 16 глав, охватывающих жизнь Советского Союза за период от 1940 по настоящее время. Книга написана человеком, не так давно прибывшим из Советского Союза на Запад. Содержание глав: В чем сила советской власти; Партия и партийцы; МВД, КГБ; Уголовный мир; Образование; Наука; Религия; Советская армия и народ; Внутренний рынок; Сельское хозяйство; Литература и искусство; Конституция СССР на практике; Жилищная проблема, быт и отдых; Советская женщина, любовь, брак, семья; Основные черты советской молодежи.

В книге 248 стр.

Цена 15.80 н. м., в США и Канаде 4.00 долл.

Заказы шлите по адресу:

**Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15
Germany**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXIII

№ 69

1968 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Правая кисть. Рассказ	I
М. БУЛГАКОВ — Собачье сердце. Повесть	3
НАТАЛИЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — «Как андерсовской армии солдат...»; «Любовь, любовь! Какая дичь...»; «Стрелок из лука, стрелок из лука...»; «Наревешься, наплачешься вволю...»; «В моем родном двадцатом веке...» Стихи	86
ИВАН ЧАЙ — Рукопожатье начальника. Рассказ	89
АНТОН УЛЬЯНСКИЙ — Мохнатый пиджачок. Рассказ	99
ЛЕОНИД ГУБАНОВ — «Петербург». Стихотворение	107

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ПОЛОВЦЕВ — Модернизм — духовная революция	109
Е. ВАРГА — Российский путь перехода к социализму и его результаты. Окончание	134
В. ПОРЕМСКИЙ — Станный опыт странного человека	154
С. КИРСАНОВ — О правах человека	171

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ГЛЕБ РАР — Крест над Суругадайским холмом	183
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Русак. Философия живописи. — Александр Больто. Новая книга о Горьком. — В. Перелешин. Литературный Петербург в годы революции. — Арк. Слизской. Берег «Нет челове- ка». — Ив. Сергеев. Заметки о книгах. — И. Качуровский. «Слово о полку Игореве» в испанском переводе	198
Список книг, поступивших в редакцию	212

© 1968, Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Правая кисть

Рассказ

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать.

А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганная ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смел сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых залетных мечтах измерял добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей тошноты, и прилечь, ниже опустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их, и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную страну — и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Этот рассказ был получен тогда, когда журнал шел в печать. Этим объясняется нумерация страниц римскими цифрами. Ред.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размывлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вздохе. В одной не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Все было для меня забыто или невиданно, все интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандсбойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкой швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше на пути к воротам, с равномерной разрядкой расставлены были и другие бюсты, поменьше. Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашники и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные, — а книжки записные у меня уже в жизни бывали, а потом попадали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал — этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышевым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже — но мои ссыльные копеечки поеживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза в день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом клочкотал мутно-желтый бешеный Салар. В парке жили раскидистые дубы, осеняющие нежные японские акации. И восьмигранный фонтан выбрасывал тонкие свежие серебринки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах — сочная, давно забытая (в лагерях ее велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженством.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям мило зубрили свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — на душевой стадион. Вечерами неразличимые, а потому втройне притягательные, девушки, в нетроганных и троганных платьях, обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демьянском, сожженных в Освенциме, истравленных в Джесказгане, домирующих в тайге, — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих — за то, что мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, кастелянши и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в нежно-стро-

гих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче, вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув на секунду, составляла целый сюжет: о ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, медленное отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добивалась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройтись со мною рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучевые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики, — а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи... Товарищи...

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной — мешком обвисший, распирающий грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огородного пугала.

Отечные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу — и на заявлении искоса две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила

были горздравовские и выражали разумно мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня.

— Ну, что ж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только расспрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порывшееся от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело вздыхал.

Так мы пошли, два обтрепыха, той самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо алебастровых бюстов.

Наконец свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз, и теперь, отдышавшись, добавил: ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахна-Ташем (где, я помнил, начинали строить канал). В Угрэнче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджеу он с поезда сходил, и в Урсавтьевской — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не оставалось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я и не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так *последняя* болезнь. Наглядясь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось воли к жизни. Губы его расслабились, речь была маловнятная, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба

пот. Куполок его головы полысел, а кругом, по темени, сохранились нечесанные, сбитые пылью волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалости потончавшей, цыплячей, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть, и что ему надо в приемный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти бесшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Они мне очень понравились. Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку:

— А курить у вас не найдется, товарищ?

— И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погresti. В зеркало на себя посмотри. Курить! Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.

Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век, как-то по-собачьему.

— Все ж-таки, дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько лет я там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

— Спасибо, — просипел он. С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман — и тут же его освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все три мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблучка.

— Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его прояснился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

— Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под Царицыном лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ — тень гордой улыбки — выразилось на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

— Почему ж не платят?

— Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только и есть...

Правую кисть — суставы пальцев ее были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу — он донес до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову, и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда при мне не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь, дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженного грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, переодевальня, парикмахерская), днем всегда теснились больные и измеряли долгие часы, пока не примут. Но сейчас, на удивление, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом — туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густо-лиловой помадой.

— Вам чего? — Она сидела за столом и читала по всей видимости комикс про шпионов.

Быстренькие также у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

— Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, даже не посмотрев на бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтобы она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, прошипая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерке.

Она оробела, отодвинула стул вглубь своей комнаты и сбавила:

— Приема нет, гражданин! В девять утра.

— Ты прочти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом.

Она прочла.

— Ну и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

— Но человек — проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жестокое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их положить? Пусть на квартиру станет!

— Но вы выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Еще чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной заведена на ответы.

— Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда закройте двери!

— Вас не спросили! Нахал! — взорвалась она. Вскочила, бежала кругом и появилась из коридорчика. — Кто вы такой? Не учите меня! Нам скорая помощь привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты, и виднелась косынка — розовенькая, славная, и комсомольский значок.

— Как? Если б он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала скорая — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

— Да, *больной!* Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

— Вот... — изнеможенно выговорил он, — вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка.

Дана сия товарищу Боброву Н. К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубил оставшихся гадов.

Комиссар (Подпись)»

И бледнела фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — «Особого Назначения»? Какой?

— Ага, — ответил он, едва придерживая веки незакрытыми.

— Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-опухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил, как пешего рубили с коня наотмашь. Наискосок.

Странно... На полном размахе рука доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча — эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На страни-

це вверх ногами я увидел благородного военного, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, всё время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головою пониже.

— Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бедрах.

Собачье сердце

Повесть

1

«У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи Боже мой, — как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — все равно что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, полижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и если плачу сейчас, то только

от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни — перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас костью, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хотя и лопают богато, да и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает: а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек захвоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, как кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела

мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времячко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..»

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбченку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаянье повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалившимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. — «Шарик» она назвала его... Какой он, к черту, «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шлейка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего, — господин. Ближе — яснее — господин.

«Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком са-

пога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит, стоишь... р-р-р... гау-гау...»

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню.

«Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с скульптурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный. Больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне».

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?»

«Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!»

Пес пополз как змея на брюхе, обливаясь слезами.

«Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается».

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу,

которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особая краковская». И псу — этот кусок.

«О, бескорыстная личность! У-у-у!»

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

«Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок».

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку.

«Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!»

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он поцелкал пальцами. — Фить-фить!

«За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю».

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении от Пречистенки до Обухова переулкa он ее выразил. Поцеловал в ботик у Мертвого переулкa, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудака, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р! — Гау! «Вон! Ненапасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке».

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

«Эх, чудака. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь! Я и

сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете».

— Фить-фить-фить! Сюда!

«В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок».

— Фить-Фить!

«Сюда? С удово... Э нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позу-ментах».

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

«Вот это—личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?»

— Иди, иди.

«Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок».

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно, вполголоса, вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали на дыбы.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, вынесли новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

«Иду-с, попеваю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок».

Галун швейцара скрылся вниз. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются), вы волей-неволей выучитесь грамоте, и при том безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Полубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом «Б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «Сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина

Чичкина, горы голландского красного — зверей-приказчиков, ненавидевших собак; опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало: «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: Пэ-ер-о-«Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением... — Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдала божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. «Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши, и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парш... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар, каторжник повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне — халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э нет, — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя».

— Э нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаанный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, — Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась

не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво, вбок. «Спасибо, конечно, — мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодееры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его куснул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту

краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отравы для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок тащит в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурки папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развешивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъясим...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тьякнул, но очень робко...

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филипп Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе, — подумал, пес, — вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расплзались на лице у фрукта, но цвет его был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

— Тяу, тяу!.. — он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннер, двадцать пять лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладел наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — всё-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году, в Париже, на Рю де ля Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо прищельца затуманилось.

— Проклятая жидкость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало. — Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уж третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен. Одевайтесь, голубчик!

— Я же той, что всех прелестней!.. — дребезжащим, как скворода, голосом подпел пациент и сияя стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филипп Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпанный звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 55-56. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Странные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас.

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась со страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— От Севильи до Гренады, — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках, — я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод... — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филипп Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— От Севильи до Гренады... Угм.. в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загрохотала вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филипп Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тьякнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа, — возмущенно кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка, — думал пес, — но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта — дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Фили-

пович. Он стоял у письменного стола и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот с копной умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филипп Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филипп Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-вторых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаче.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкян. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь?

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович. — Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека; столовая, мой кабинет — три; смотровая — четыре, операционная — пять. Моя спальня — шесть, и комната прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно багровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам и мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — И голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович стукнул, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять ее.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторять все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там,

где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца... Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить — как хотите, а отсюда я не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я как заведующий культотделом дома...

— За-ве-ду-ю-ща-я, — поправил ее Филипп Филиппович.

— ...хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, —

взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филипп Филипповичем какой-то Намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчи-

ка с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Новоблагословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?

— Все, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое себе в горло, — в... мм... доктор Борменталь, умоляю вас: мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это? — я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филипп Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Ког-

да-то их великолепно приготавливали в «Славянском базаре». На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

За сим от тарелок поднимался пахнувший раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового магазина, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а, представьте себе, большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексy, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим — ломоть окровавленного ростбифа. Словив его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жульен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое означает?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила улыбаясь Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом «ни одного» — чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запираť под замок? И еще приставлять к ним солдата,

чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, — кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было друтому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти харитоны кричат

«бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича пере-
косило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смеш-
но! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по
затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации
и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха
исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно
в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать
судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся,
доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии
от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно
застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его
раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он
подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный
гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном
видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то
лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электри-
чеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в
собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок
ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог бы деньги зарабатывать, —
мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и
так, по-видимому, куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой!
(Угу-гу-гу! — какие-то пузыри лопались в мозгу пса...) Городо-
вой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с
бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с
каждым человеком и заставить этого городского умерить вокаль-
ные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам
скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме,
да и во всяком другом доме до тех пор, пока не усмирите этих
певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение
само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филип-
пович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас кто-ни-
будь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филип-
пович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, кото-
рое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под
ним скрывается! Черт его знает! Так я говорю: никакой этой са-

мой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей поломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и краснея засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успеваает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патолого-анатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем, обомнем. Пусть бок у него заживет...

«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоника под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц — инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Коли даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек, достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнотонных отрывистых хозяйских удара — и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионном снежных блесков, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалует. Вы поглядите — что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на задугу, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся в дребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил мерзавец! И за хвост ее цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковра, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал — «бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельщику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил — что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор, швейцар, собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил: — Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы, — за шестерых лопают, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня гроыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна, — вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мягкость, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала пламенная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуоткрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудрен-

ного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам ни к чему, — плохо владея собой, хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— К берегам священным Нила, — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филипп Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет — ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!»

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак — полчашики овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько повыл там на собственное отражение. Но затем, после того как Зина сводила его погулять на бульвар, день прошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживляла мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филипп Фи-

липовича неприятно и неожиданно прозвонил телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забежала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире,» — раздумывал он... И только что он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тятнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и растегивая чемодан.

«Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина.

— Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», — пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото», — решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарiku ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто глупо...» И около четверти часа он пробыл в ванной

в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уж пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности: солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять,» — бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом — почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно, — бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были насторожен-

ные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно, ушел в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей... — мелькнуло в голове. — За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загребные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

На узком операционном столе лежал раскинувшись пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, остриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно.

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я вой-

ду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток, и тут же шить. Если там у меня начнет кровоточить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинки не села на черную резину перчаток.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступала кровь. Обрив голову, ткнувший мокрым бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Хорошо спит.

Зубы Филипп Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой

ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

—Шейте, доктор, мгновенно кожу. — Затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— Четырнадцать минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож, — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филипп Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепо!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович вѣлся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырвалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с

мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет-не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах ты, че... К берегам священным... Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой («Не имеет равных в Европе... ей-Богу!» — смутно подумал Борменталь) он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине, где-то между распыленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой, и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на

голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Всё свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, всё равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, но хитрый.

История болезни собаки Шарика

«Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.). Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8,5 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика, и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфоры по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфора, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еще прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфора по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфора, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39, 8, зрачки реагируют. Камфора под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура —

(Запись карандашом)

Вечером появился первый лай (8. ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг. за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы — торопливым почерком.)

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради — перерыв, и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано)

1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено) 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Счастливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зиной. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом) Профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах.

Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист)

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского

В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)

Сегодня, после того как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает — что такое.

Я теряюсь.

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти часов дня из смотровой, где рассказывает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-Богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии).

По городу расплылся слух.

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и

сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка: «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». — О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это — что-то неопишное... Он говорит новое слово: «Милиционер».

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филипп Филипповича. После того как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович как истый ученый признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение (подчеркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем в сопровождении Филиппа Филипповича и моем он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних (зачеркнуто)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «Буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филипп Филипповича брань производит почему-то уди-

вительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестань!

Это не произвело эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается в каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы. Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня — событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса.)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречающих псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал, читал (три восклицательных знака). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слу-

хов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1929 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злодействует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетради вкладной лист.)

Клим Григорьевич Чугункин, 28 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в 3-й раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы).

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцией. За это время облик окончательно сложился:

- а) совершенный человек по строению тела;
- б) вес около 3-х пудов;
- в) рост маленький;
- г) голова маленькая;
- д) начал курить;
- е) ест человеческую пищу;
- ж) одевается самостоятельно;
- з) гладко ведет разговор.

Вот так гипофиз (клякса).

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор Борменталь».

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, приемное время. На притолке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича:

Семечки есть в квартире запрещаю.

Ф. Преображенский

и синим карандашом крупными, как пирожные, буквами руки Борменталья:

Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается.

Затем рукой Зины:

Когда вернетесь, скажите Филипп Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером.

Рукой Преображенского:

Сто лет буду ждать стекольщика?

Рукой Дарьи Петровны (печатно):

Зина ушла в магазин, сказала приведет.

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв....р».

Очень настойчиво, с заливчатской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит

месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окайнная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице — луговой небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито небесного цвета галстук с фальшивой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в галошах», с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами глядел на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене, рядом с деревянным рябчиком, прозвенели пять. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный — глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить прилич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... Ша... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

— Да что вы всё... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял, — хорошень-

кое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольными, что вас превратили в человека? — прищурившись спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы всё попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это отставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович бледнея слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лягнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович, — и я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, — видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клоч рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольст-

вие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филипп Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, этого как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— Причем тут домком?

— Как это причем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он постучал лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Нарядо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать — по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил всё менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же в конце концов нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке — нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресесесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он вернулся, преувеличенно вежливо склонив стан, и с железной твердостью произнес:

— Из-ви-ни-те. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович не вставая закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же. — Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом, ведь вы держали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарика.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отразившийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку «да», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рога.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович багровея прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю»... Черт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументального жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро твякнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени неосознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянувшись с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненый при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня вишь как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, неважно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет! Ведь — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванне. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было! — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью: — Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, тресну-

ло червиной трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила обидевшись:

— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой.

— Дарья Петровна, я уже просил вас.

— Филипп Филиппович, — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в иступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума спятили? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаанный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — вскрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекрыть воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяга проклятый лампу расколол, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три

потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Бойтся выходить, — глупо усмехнувшись, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами возили мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью, — мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и человек пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я в калошах пришел...

Синеватые силуэты появились за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног ёрзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна, — выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся балансируя Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже мокрые ноги.

— Ах, Боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздувались, и очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видел более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы всё это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает, что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись баннным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в 7-й квартире. Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь как облако.

— То-то что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах!.. Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видел.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительный Федор, — вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь, — извольте заложить.

— Ну что, ей-Богу, — забурчал недовольный Шариков.

— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков, — я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь, — вы последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — итак: сперва Филипп Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот всё у нас на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста», мерси, а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес.

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытии проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.

— Шпетер... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Гут, — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его, дьявола, — с Каутским.

Борменталь остановил по дороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съезжился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стойте... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стойте...

— Вы стойте на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся,

слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимо подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а вы в то же время наглотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казенная, из библиотеки.

— Переписка называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил бы, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно вливаясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессо-

ра. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради Бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юесемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юесемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитина... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них, Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротни-

ком, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледнозеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизями лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал нахмурившись рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шариковского мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом не тонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и наконец в полном одиночестве зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-Богу, и, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталья и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, — по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович, — ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдем отсюда, и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу объявление, и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги — зеленую, желтую и белую — и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне предлагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое, — благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, форзихтих... — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порезы швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой золотой вязью было написано: «До-

рогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра десять.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости Господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «эээ»! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забежали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа

три пополудни, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой... — растерянно промывчал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-Богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок... От Севильи до Гренады...

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... К берегам священным Нила... Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю... — страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и вернувшись продолжал шепотом, — ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно, — вздохнув подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну, вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду.

Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами, не «принимая во внимание происхождение», отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей... вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдovich, как по-вашему — я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображен-

ский сказал. Финита, Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. — Клим, — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам как другу сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарика вот где: здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склоненной к параличу шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! От Севильи до Гренады... Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то.

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: нà, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рывкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни.

Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? Клим, Клим! — крикнул профессор, — Клим Чугункин (Борменталь открыл рот), вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи до Гренады... — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глаза к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа — судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще об-

работает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней после операции. Ну так вот: Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради Бога, не клеветайте на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Конечно, я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйт...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпря-

нул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страха показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то» упираясь садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради Бога, — опомнившись крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся. — Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошепел Борменталь, — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится. — Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, от чего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: — Ну-ну...

XI

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю... От Севильи до Гренады, Боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф Полиграфович не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно: что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович сказался, вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки в шнуровке до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь слов-

но по команде скрестили руки на груди, стали у притолки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у него напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

—... Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

За сим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаюсь устремиться вслед за сторающей от стыда барышней и Филипп Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... — он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день авансы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до Гренады, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают займы, — рывкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на Колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать, — он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в чистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков не отрываясь смотрел на Борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло, и вдруг изловчившись брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку Борменталевский крик.

Ночь и половина следующего дня висели как туча перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уваже-

ние... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду: «...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задержал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталю, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграф Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое в самом деле! Что я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом — шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь не со своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора — нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах

смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее досмерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывалась история болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забежали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалось масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и dokonчил, — и арест, в зависимости от результатов.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович, — это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером. Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и отступив сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей.

Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филипп Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

Серые гармонии труб играли. Шторы скрыли густую пре-чистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песий благоволитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло, — думал он задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги; упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурил-ся и пел:

— К берегам священным Нила...

Конец

Январь-март 1925 года

Москва

Наталья Горбаневская

* * *

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром —
разведчиком в болоте комарином,
что на трясучей тропке одинок.

О — рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве...
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как туфельки и прочие вещицы,
и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,
и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубах.

О родина!
Но вороны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевой
под уходящими подошвами солдат.

* * *

Любовь, любовь! Какая дичь,
какая птичья болтовня.
Когда уже не пощадить,
не пожалеть меня,
то промолчи. Да, промолчи,
не обожги моей щеки
той песенкой, что, заучив,
чирикают щеглы.

Той песенкой, где, вкось и вкривь
перевирая весь мотив,
поэт срывается на крик,
потом на крики птиц,
потом срывается на хрип,
на шопот, на движение губ,
на темное наречье рыб
и на подземный гул.

Любовь из каждого угла
всего лишь пища для стихов,
для глупой песенки щегла,
для крика петухов.
Так промолчи. И помолчи.
Коснись рукой моей щеки.
Как эти пальцы горячи.
Как низки потолки.

* * *

Стрелок из лука, стрелок из лука,
стрелок, развернутый вперед плечом,
она трепещет, моя разлука,
оставь ее, вложи в колчан.

И опустишь на песок полигона,
оружье слабое отложив.
И небо пусто. А поле голо.
А горло сходится ото лжи.

Стрелок из лука, а ты ракетой,
а ты бы бомбой, покуда цел.
А в чистом поле.
А под ракитой.
А сокол в рощу улетел.

* * *

Наревешься, наплачешься вволю
на зеленой траве
и опять возвращайся в неволю
с глухотой в голове.

Наревешься, наплачешься, горьких
наглотаешься слез,
на крутых укатаешься горках
в лопухи под откос.

И опять возвращайся. Доколе ж
всё туда да туда ж?
Все ладони в колючки исколешь —
и востри карандаш.

Накарябай строку, нацарапай
на запястье своем
да травинку кровинкой закапай
за рабочим столом.

* * *

В моем родном двадцатом веке,
где мертвых больше, чем гробов,
моя несчастная, навеки
неразделенная любовь

среди этих гойевских картинок
смешна, тревожна и слаба,
как после свиста реактивных
иерихонская труба.

Рукопожатье начальника

Рассказ

Вам не случалось когда-нибудь видеть из окна проходящего поезда состав грузовых платформ с уложенными на них ряд на ряд бревнами в шесть, семь, а то и больше рядов?

Такая охапка бревен схвачена стойками от бортов и расперта еще для натуги клиньями между бревен изнутри. Стойки толстым концом загнаны в гнезда в полу платформы. Их ровно опиленные верхушки обкручены и стянуты поверху вместе и к середине толстой, в палец, проволокой. Прижатая к месту ими как ребрами и собственным весом тысячепудовая ноша платформы прочно спеленута и не может в получившейся клетке на ходу шевельнуться.

Сколько ни путала с этими бревнами проволока колючая, а мне так еще и остался в памяти связанный с ними особенный случай.

Летом того трудоемкого года бригада Собакина, в которой я тогда находился, стояла на подкатке круглого леса с погрузкой таких же платформ. Лагпункт с лесобиржей — пропускной в дальний лагерь — был в строгановских местах на виду у Сольвычегодска и назывался Головка.

Наша бригада была на Головке на первом счету. Собакин, не как другие, был между баланов и пропсов*) свой человек — он до лагеря был, и не врал, архангельский капитан-лесосплавщик; к себе филонов и ученых не брал; предпочитал рабочий, умелый народ, т. е. людей от станка и сохи; также знал он и главный секрет — как обмерить и сдать, чтоб сколько ни сделаем, получился ударный процент.

Но какой ни процент, а железная дорога для жильцов лесных лагерей — беспокойный комфорт. Днем или ночью подан состав

Этот рассказ в рукописном виде распространяется в России. Автор его, представитель среднего поколения, не принадлежит к официальным писательским кругам.

Р е д.

*) Значение слов, употребляющихся в концлагерях, см. в конце рассказа. — Р е д.

— нам новая трепка. Пришедший состав, без простоя вагонов, должен быть как *пуля* погружен, десятое дело, сколько без передышки, может быть, только что вкалывали люди. И людей на вагон ставят в обрез: двое накатывают и толкают с бунта, двое тянут канатами сзади через вагон, пятый со спецпоселенцем скачет вверху, хватает багром, укладывает и крепит; две платформы на пятерых — как раз только тощая норма.

В тот день, как помню, нам пришлось тоже круто, мы трудились как мертвые мухи. Ночь перед тем грузили рудостойку и ни разу не сели; только закончив, растянулись без чувств у себя на досках и уж слышим — опять Собакин, чтоб он пропал, со своим разлюбезным:

— Орлы, вылетай! Давай как из пушки, дадут полватрушки!

И мы, разобрав инструмент, уже опять тянулись считаться на вахту, на ходу продевая ноги в лоскутья штанов (у меня назади так только держался крепкий как проволока средний спательный шов).

С громом и грохотом погрузка первых платформ уже приближалась к концу, как вдруг рядом как-то не так покатилося и стукнуло. Смотрим: у соседей движение; толпятся, одни ковыряются дрынами и подваживают, другие извлекают из-под бревен человека.

Так и есть: они уж почти кончали платформу — подача тогда бывает крутая высоко наверх — и тут от бессилья, от столбняка или спешки кто-то из них оплошал; бревно как в «Дубинушке» вырвалось, пошло с этой кручи по слягам махать назад на накатчика, достало его, да так и осталось на человеке лежать. Из того, кажется, дух сразу был вон, потому что он даже не охнул. Нечего делать: позвали носилки, коротко перекурили, и погрузка под окрик *давай* продолжалась.

Потерпевшим был остролицый мелкий Тарасов, почти еще мальчик, хотя уж попавший по новой, — не новичок. Этот вообще молчаливый Тарасов был среди нас одним исключением: он вслух томился по воле и по ночам постоянно бредил ею во сне.

К счастью, обошлось в этот раз для него — как хотите, читатель — почти что испугом: случившимся чудом бревно повернулось крестом и не легло на него, а пришлось по ногам; и не убило, а защемило и, кажется, даже без поврежденья костей. То есть теперь, по нашим понятиям, ему привалила удача проводить пока часть пятилетки без саморубства в стороне от бунтов.

Недели бежали. Ночи темнели и меркли с каждым суточным

ходом отступавшего солнца. На небе происходил огромный на той широте поворот с перемещением и быстрой убылью света. Ночное зарево еще светило всю ночь на своей стороне, обходя горизонт вместе с близким, но часами уже невидимым солнцем. Его полусвет — то нежно-малиновый, обрезанный лесом, или оранжевый, палевый, желтый — принимал растущую тень обступившей остальной горизонт темноты, деля с ней свои поредевшие краски. Ночные погрузки — теперь пополам с темнотой — не освещал неподвижный пожар затянувших полнеба полей и полог, как здесь было в разгар летней ночи.

Под небом у нас были тоже свои перемены. Тарасов начал понемногу ходить, а нас перекинули на тот берег реки. Там был тоже не мед, но хоть мы разлучились с беспокойной погрузкой.

Соседство реки, к слову сказать, не меньше платформ отзывалось на наших штанах, зато расширяло пространство с соблазном для глаз и разнообразило нам наказание. Эта река собиралась в лесах из снегов и болот и — сквозь песок — из процеженных почвенных стоков. Как путь сообщения в здешних местах она помогала перековке людей — переправляла добытый ими пловучий продукт, вбирая в себя древесный настой, и, с безразличием к ходу вещей, бурой водой омывала Головку. В истоках она бежала порожняком, не считая прозрачную муть, наполнявшую глубь краснобурою мглой, в которой, отливая опалом и медью, местами было видимо дно, местами просвечивали какие-то очертанья. Мимо же нас стремился мутный поток, отдававший бревном и доской. Чураками, кряжами, горбылями, комлями (и не перескажешь, какими препроводительными словами) он прививал нам свой вкус и обогащал наш язык. В особенности же не милосердствовал он у нас за плечами. Кроме того, он определял приход и расход, считая наш труд и, зависимо от него, пропитанье. В целом же, как ни взгляни, наше житье отражало закон управления страной, который имел свою красоту, свой резон и свои основания. Нам, сличавшим его на ходу со статистикой собственных знаний, с Марксом бесцельно перебирать, как отзывалось нам это бытие и что определяло сознание. Заметим еще только то, как эта река окольным путем мешалась в наш обиход и портила наше существование: замыкала окружность водой (по сухому пути были вышки, колючий забор и щиты, отмечающие зону); сближала напор кубометров, лесные пространства и наши труды; была большою дорогой в дальние, нашим родителям не снившиеся места, вступленьем куда, собственно, и служила гладко утоптанная постоянным столпотвореньем Головка.

Чем докучала нам эта река и как ощущалось ее созерцанье — сложная вещь объяснять за глаза, без переездов ее по нашему способу целые месяцы в оба конца. Для перевозки служила здесь утлая, но выносливая ладья, вмещавшая сразу всю нашу немалочисленную команду. Переезд был испытанием судьбы, потому что вода (что нам было решительно все равно) не только плескалась почти вровень с бортом, но и струилась как в решето сквозь дырявое днище. Осторожно работали наши гребцы, а консервные банки не переставали откачивать. Равновесье ладьи разделял наш конвой, который, не отступая, следовал с нами. А четвероногим, делившим с ковчегом превратность судьбы, была принадлежавшая конвою собака. Каждый не шелыхался, где сидел и стоял. И все-таки я, как ни старался, не распознал, почему мы ни разу не зачерпнули и не опрокинулись.

Но вся эта неудобная перевозка была только присказка. На берегу раскряжевка шпальных чураков доставляла бóльшие неудобства. Эти шпальные чураки, которые перед работой были только еще кряжи (здесь — наш хлеб и главные наши враги), выволакивались для нас трактором из реки и были тяжелы как железо. Скользить в этой слякоти, шевеля двадцатипудовые би-рюльки, для нас, голодных людей, было истинным наказаньем. Впрочем, и менее мокрые горбыли ложились здесь на подноске тоже довольно чувствительным весом нам на горбы. Но кряжи, которые ожидали нас в виде выросшей за ночь огромной горы и давались нам всем количеством на урок, были особенная гадость. От них, после дня раскряжевки, мы оставляли на месте горы лишь след на грязи. Зато нашим продуктом тут были аккуратно уложенные шпальные чураки, а отходом — торцы. Сами же мы, оставаясь, как накануне, от понесенных трудов без души, следующий день начинали снова с горы.

Экспедиции за реку имели однако же и тот интерес, что пищевое довольствие, выдаваемое на тот берег сухим пайком, отступало от общего правила и не прилипало к котлу и к рукам. Так как повар был выборный, а котел стоял на виду, то и оказывалось, что кубометры обращаются впрок, когда ставятся повару в работу при таком положении за счет едоков. Котловое довольствие содержало по здешним условиям свой жир и навар и попадало прямой дорогой к нам в животы. Свободный же до поправки от кубометров Тарасов получал позволение заниматься уженьем; он и отсиживал с удочкой, на виду у конвоя, по соседству с котлом.

Однажды в обед хватились Тарасова, а его нет. Пока счита-

лись, пересчитывались и соображали, не досчитались еще двоих. Конвой чуть с ума не сошел. Началась тревога, свистки. Собакин разрывался на части. Потом сбили нас к берегу в кучу и глаз не спускают. Пустили собаку, вызвали подкрепление, и погоня пустилась.

Но место было самый раз для побега. Кругом коридоры, понавалено и понаставлено леса, за ним даже с бунтов ничего не видно; а если что слышно — так терпкий запах опилок кругом. Причем, где он кислый или спиртный, так до щекотки в носу. Лагерь, вохра, люди — все за рекой. А она широка — наши бревна на другом берегу лежат не больше рассыпанных спичек. Что потом — неизвестность, за которой безвыходность и, при тех обстоятельствах, вся страшная нам своими примерами страна.

Остаток дня не пришлось поработать. Нас, как смогли, переправили в зону. Урок, а с ним и премблюд в тот день пошли прахом. Началось усиление режима и общая переборка со всякими строгостями, так что и на следующий день нас не пустили работать. Сразу *избежало* ведь трое из двадцати, т. е. побег получился почти что массовый.

— Такая петрушка, — сказал мне старший из нас Подсолихин, — подводят под нас круговую поруку. И есть разговор, что хотят повесить каждого на шею другим, с выводом на работу под собственную расписку... чтоб за сохранность собратьев, кроме конвоя, отвечал через 17 как заложник и подконвойный собрат...

Но мне теперь это было уже все равно. У меня и без этакой складчины была крупная перемена. Утром объявили меня на этап, и я навсегда простился с Головкой. Перед отправкой поинтересовался я только узнать, что погоня кого-то почти что нагнала, но упустила и, за темнотой, *повернулась* ни с чем. Да еще по пути на санобработку я видел мимоходом Собакина — в карцере. Я его таким еще не видал. Он напился, распевал песни, слетел с бригадирства и показал мне пьяной рукой вокруг шеи.

А о беглецах у нас мог быть только тот разговор, что трудно им будет куда-то деваться от повсеместных ухватов с заработанной каждым ядовитой приметой на них.

— Не напрасно мы слышали, — рассуждал, оглядываясь, Подсолихин, — что люди — самый ценный у нас капитал. Ведь называли же так не впустую, а нарочно и — приходит на ум — между прочим, также с той целью, чтоб денно и ночью пугались себя же самих...

— Они на счету, — говорил еще кто-то, — и, хочешь не хочешь, никуда не ушли от непременной денной и ночной, род-

ной им отцовской заботы о них. Ведь на воле, и затерявшись, и без всякой приметы, кому-то удастся, не отыскавшись, прожить?

— А как же иначе, — заключал Подсолихин, — когда каждая личность с лица и с изнанки, и отдельной персоной, и коллективно взята на учет? Не для показа, а не этак, так так, не так, так иначе — то в спину, то в лоб — для собственной пользы!

С нами же, взятыми на этап, были несложные счеты; через дня три после случая на Головке мы сидели с вещами в ожидании отправки около пристани в К. Здесь была постоянная перевалка на реку сухопутных лагерных грузов. Для передачи конвоем этапа при нас находился начальник Головки, тоже попавший к зырянам, очевидный кавказец Тенгаев. Но кто бы, вы думали, мог быть тут еще замешан в нашу отправку и был даже целью нашего ожиданья? Лев Толстой, великий писатель! Да, да, Лев Толстой, без противления злу и человеческий доброжелатель, а здесь — название парохода, в котором вместо селедки нам предстояло вместиаться. Впрочем, в этих местах и другой великий, не хуже Толстого, плавал с тюремной подкладкой — Михаил Ломоносов, естествопытатель. Оба они, без высоких материй, принимали участие в перековке, состязаясь на перевозке этапов в качестве дна и крышки и не стесняясь нашего брата как псевдонимы пловучей тюрьмы.

— Чтоб довершить правосудье, — предложил внутри у Толстого взятый в тот же этап Подсолихин, — справедливо привлечь по нашим делам и обоих великих — за соучастье, через 17, с применением... Но какой же статьи? Ведь в мозгах то затемнения, то вспышки, а неподсудность, как и судимость — два растяжимых понятия и происходят на разных этапах от применения той же статьи. И вообще кто истец, кто ответчик? Оба — законных вопроса, а нет ни начал, ни концов. Я на концы как нарвался на суде при закрытых дверях, так с тех пор — со статьей без зубов, и больше за розыск не брался.

И действительно, место имел слишком сбивчивый случай, чтоб в нем без статьи разбираться. Много предметов двоилось в глазах — где был один, оказалось их двое. Правда и ложь не вместились в мозгах. Низкие свойства возбуждались в умах и возводились в высокие, оставаясь в кишках как прилипчивая зараза. Правые вещи существовали в умах, но были опасная контрабанда, и настолько не к месту для произношения вслух, что даже глупо звучали. И от просвещения темнело в умах. Трусость и лесть, купаясь в поту, расцветали раскидистым цветом.

Умные головы записывались в дураки, а умные укомплектовывались дураками. Умные при таком положении хуже, чем дураки, попадали впросак и оказывались дураками.

При всем том нельзя забывать про высокую линию и огромный размах, которые были в великих делах, невзирая на трудности и на палки в колесах. Человеколюбие служило тут толкачом, от которого трескали все кости. Линия же была высока, но делалась ломаной в великих боях. Получался кровопролитный круговорот, в котором низкие личности превращались в высокие, а высокие — в низкие. И таково было уравниенье в правах, что кто был на очереди, нельзя было угадать: и те, и другие то вышались в верхах, то погибали в низах. Низкие вещи помогали на всех этажах и разворачивались без застав и затворов.

Тем же духом веяло в наших рядах. Линия так ломалась об нас, что пусть крупные вещи творились в верхах, зато мелкие ощущались в низах. И зоология практиковалась такая, что ходила на двух ногах и заедала, распространяясь среди нас. Становилось похоже на то, что человек цеплялся за жизнь себе самому на погибель. Как тараканы на сковороде, мы, не глядя на то, цеплялись за жизнь и подставляли друг другу человеческие подножки. Себестоимость была высока, но зато механика создавалась такова, что зажиманье в тисках уже шло естественной тягой. Самый верх знал рецепт, вел свой счет, не за воздух держался.

Всё это было б еще ничего, но от статей, формулировок и сроков рябило в глазах, а вышкам счет потерялся. Дело, которое делалось, было без берегов, но не имело и середин. А охват был такой, что негде было Толстому скрываться. Войдя в положение, можно понять, почему тот, кто не был дурак, не хотел концов доискаться.

Но вышесказанный недочет был у нас позади и как стадия пройденная нам теперь нипочем. Кругом же была благодать и, после опыта с бревнами, форменный праздник. И впереди предстояла опять благодать — сначала речная, а затем продолжительная лесная прогулка. Мы их и предвкушали как длительный отпуск и передышку. И вот когда, таким образом, мы перед пристанью в ожидании Толстого наслаждались бездействием, вдруг кто-то из нас, нарушая оцепенение, встрепенулся и крикнул:

— Смотрите, что это? Ведь это Тарасова поймали и ведут!..

Все оглянулись, и действительно видим, что по железнодорожным путям в нашу сторону шествуют двое: железнодорож-

ник, чисто одетый в новенькой форме, и с ним — которого уже вовсе не чаяли видеть — им ведомый Тарасов. Тот так и был — в рваной куртке и кепке, со свертком под мышкой. Уже с поезда его только что снял этот бдительный проводник после нескольких суток перебежек и прятков на местности. Случай был у нас на глазах: оба составляли единое целое — как виноватый и правый, которые были у нас острым углом человеческих отношений. Сцена была немая и говорила без слов. Мы молчали в качестве зрителей. При виде Тенгаева, поимщик с поимкой зашагал на него, распознав на ходу, где тут власть, где — подвластность. Он был, вероятно, усердным ловцом — судить по тому, как оба трясали друг друга за руку, пока Тарасов, который тут же стоял как пойманный вор, выражал своим видом неловкость, смущение и покорность судьбе... Так сорвалась опасная воля, которой бредил неудачник Тарасов.

Тут бы истории был и конец, если б не упомянутый круговорот, не случай и не длинная память моя на вещи и лица. Дело имело вот какой ход.

Лев Толстой, отчасти уже наготове, доставил нас к месту другой перевалки. Здесь начинался пеший поход по дороге, проложенной в ходе крупных поимок. Этот тракт шел белым рубцом на пространствах тайги, между Иван-чаем, которым зарос буерак по сторонам огромной просеки. Конвой и повел нас дальше по нем к месту еще не близкого назначения. По пути мы насмотрелись разных красот и в полумраке еще долгой зари — силуэтом картин волшебной как в сказке природы; дышали дымом тайги и горелых болот; после комаров кормили клопов за решеткой во время ночевки. Босоногим, как мне, кидалась по мере износа пара за парой новых лаптей из взятой в запас огромной вязанки. Наконец на который-то день начальник конвоя сдал меня как приложение к пакету тамошнему коменданту.

Но всем этим не приходится козырять, потому что на воле в то время не только поднялся объем рукопожатий начальников, но шла и поимка поимщиков. Словом, мне остается лишь досказать, что вышло у нас с этим проводником позднее, при нечаянной встрече.

Я еду уже после срока на волю, с остановкой на перепутном лагунке. Вдруг вижу — в потоке лагерных лиц показалось одно, очень знакомое. Где б мог я видеть его? Неужели и такая поимка поимщика?

— Эй, послушай, рваный бушлат! Мы ведь будто знакомы, — окликаю его и, боюсь, невпопад. Тот подходит — и я глазам не поверил, когда рассмотрел, что это в самом деле был он — поменявший прежний наряд на лагерное обмундирование не первого срока. Тот говорит:

— Разве тут вспомнишь, пройдя лагеря. Я был в Княж-Погосте и на Веселом Куте, а до того... (он назвал многие местные командировки и чужие лагеря) — память у меня и отшибло.

— Знаю, — отвечаю ему, — как страдает она от больших перемен и от массовых встреч, потому что географию исправлений я тоже прошел. Да я сейчас не о том. Похожего я запомнил не в лагерях, а на станции К. Не работал ли там случайно проводником?

— Как не работать — работал, — удивляется тот, — и некому быть другому, кроме как мне. А вы, если там были, то по какому же случаю?

— Не в упрек будет сказано, не затем, чтоб смотреть, как старался при рукопожатии после поимки. Я про себя допускаю, что, может, за дело попал, а проводник-то за что? — (зло меня тут взяло) поразил я его прямо в лицо таким неделикатным распросом...

Я мог ожидать, что он за себя постоит и найдет, что сказать себе в оправдание; или взъестся и, как говорят, полезет в бутылку; или хоть отзовется тем, что, мол, этак и так, знать не знаю, попал ни за что и т. д. ... А он языка лишился; стоит, обомлев, сам как пойманный вор, будто его из-за угла мешком ударили. Не признается ни в чем и не ругается, будто и не учили его, что чистосердечное признание облегчает участь! И вот этакий гусь, не найдя, что сказать, он пошел от меня, махнувши рукой, и потерялся в толпе.

Мне не у кого было искать сочувствия, что попрек мой попал в пустоту. Впрочем, что было у него на уме и каково состояние чувств — я так и не узнал, потому что встреч лично с ним у нас с тех пор больше не было. Но, честное слово, как не признать, что рукопожатье начальника вышло ему, да и не только ему, теперь боком? С таким ощущением и сознанием того, что истории тут не конец, я и двинулся дальше — на волю, в пространство, из холода в жар, по месту моего направления — в Ташкент.

Примечания автора

Баланы или *балансы* и *прѣпсы* — виды делового леса. *Филонь* — отлынивающие от работы. *Вкалывать*, а также *втыкать* — делать тяжелую работу. *Бунт* — то же, что *штабель* — кладка разного рода леса. *Спецпоселенцы* — административно-сосланные; спецпоселенец помогал как плотник при укладке и закреплении бревен на платформе. *Рудстойка* — крепежный лес для шахт весом до 10 пудов. *Вахта* — пост комендатуры у ворот лагеря. *Дрын* — короткая толстая палка, а также *вага* — небольшая жердь, которыми действуют как рычагами; *подваживать* — поддевать. *Сляги*, а также *покота* — тонкие бревна или жерди, по которым катят лес. *По новой* — вторично. *Саморубство* — умышленное увечье, чтоб избавиться от тяжелых работ. *Чурак* — короткое бревно, из которого вырезается шпала. *Кряж* — разного рода необделанное бревно, здесь около 4-х метров длины; *раскряжевка* — распиливание кряжей на два шпальных чурака. *Торец* — отпиленный конец бревна в виде чурки. *Горбыль* — полуплоская доска, получаемая при спиливании горбушки бревна. *Комель* — толстый (от пня) конец всякого рода леса. *Урок* — аккордное задание на день. *Вохра* — военизированная лагерная охрана из заключенных же. *Премблюда* — премиальное блюдо; лепешка, дававшаяся 3, 6 или 9 раз в месяц за перевыполнение нормы. *Через 17* — по 17-ой статье Уголовного Кодекса (соучастие и недоносительство). *Санобработка* — баня и пропаривание вещей. *Формулировки* — названия многих государственных преступлений по их начальным буквам. *Вышка* — высшая мера. *Срок* — здесь: степень изношенности; *первого срока* — новое (обмундирование и проч.). *Княж-Погост* и *Веселый Кут* — тамошние лагпункты. *Командировка* — маленький лагпункт.

Мохнатый пиджачок

Рассказ

Антон Ульяновский принадлежит к числу так называемых забытых писателей двадцатых годов. До революции А. Ульяновский работал наборщиком и корректором в петербургской газете «Биржевые ведомости». В Первую мировую войну попал в германский плен. Вернулся домой в годы гражданской войны. В начале двадцатых годов стал писать. Вскоре в Москве вышли в свет две книги его рассказов. В начале тридцатых годов, во время коллективизации, Антон Ульяновский скончался от голода.

Р е д.

Из какого материала он был сшит, трудно теперь сказать с точностью. Трудно, потому что теперь его нет, а в свое время я не сумел выяснить этот вопрос как следует.

Я получил его в дар от тетушки, перед тем как уезжать в Москву. Это доброе дело совершилось в спешке и почти без слов, скорее по способу пантомимы, чем в разговорном жанре, и конечно, не мне было нарушать расспросами сопровождавшее эту сцену грустное молчание. Нарушила его сама тетушка, но и она, кроме совета почаще проглаживать пиджачок щеткой сверху вниз и ни в коем случае не валяться одетым на нарах, ничего нового по существу не сказала.

Впоследствии, когда дело коснулось продажи пиджачка, был еще случай поговорить на этот счет с маклаками на Смоленском рынке, но и тогда вопрос остался спорным, ибо мнения маклаков разделились:

— Тюль, — сказал один и предложил за пиджачок семь рублей.

— Бобрик, — поправил другой и поднял цену до восьми.

— Одеяло, — поморщился третий и не пошел дальше шести.

Я лично думаю, что ближе к истине был именно третий. Ибо действительно, на коричневом ворсе сбоку спины имелась какая-то кайма, отличавшаяся цветом от остального и очень ловко, срезанным углом, пропадавшая в левой пройме.

Впрочем, какова бы ни была предыдущая история пиджачка, надо отдать ему должное: он выглядел основательно и прилично, в нем можно было прийти куда угодно; я дорожил им, потому что он был моим единственным капиталом для начала карьеры в незнакомом городе, и если бы по условиям жизни было возможно выполнить тетушкины советы, если бы вообще обстоятельства сложились благоприятно, — он, может быть, до сих пор служил бы мне, а при его наличии и самый ход моих дел, конечно, был бы совсем другой.

К сожалению, с пиджачком у меня повернулось не в ту сторону. В Москве, в Ермаках, в первую же ночь на него обратил внимание Вася Практик, мой сосед по койке. Этот человек остался мне памятен. Не могу ничего сказать о его физиономии: желтый потолочный свет мешал его разглядеть. Я сужу о ней по его разговорам и его сиплому разочарованному голосу, которого наслушался достаточно, ибо Вася был в камере самый главный граммофон, скуливший то потише, то погромче, но всегда зло, всегда со слюной и никогда со смехом или хотя бы с улыбкой. Между тем жулик, если он не умеет смеяться, всегда кажется несимпатичным и заставляет настораживаться.

В самом начале вечера у Васи была ссора с каким-то новичком, пытавшимся занять Васину забронированную койку. Вася пообещал ему «вставить». Я при этом вспомнил Помяловского и п ф и м ф у, которую вставляли в нос спящим, но потом понял, что вставлена будет вещь более серьезная и в другое место. В Васиных устах это обещание звучало до скуки деловито, точно вся остановка у него была только за временем.

Мне, для начала, Вася улыбнулся криво и неохотно: не считая необходимым прикрывать улыбками то, что было понятно само собой.

— Хорошая вещь, — сказал он, мотнув головой на пиджачок. — Для осенней погоды в самый раз.

Я согласился, но невольно подтянул пиджачок поближе к себе.

— Стоящая вещь, — продолжал Вася, погладив ворс, как кошку, — за нее в умывалке Сова красненькую даст.

— Возможно, — сказал я.

Но потихоньку привязал изнутри к вешалке поясok и омотал

его вокруг руки, чтобы проснуться, когда пиджачок с меня будут сдирать.

Больше мы с Васей на этот раз не разговаривали. Я закрыл глаза и стал ждать дальнейшего. А Вася пошел в поход по этажам в поисках дела.

Много фигур допоздна шаталось в эту ночь из камеры в камеру в таких же поисках, оглядывая спящих, примериваясь, перемигиваясь, исчезая. Их взгляды скользили мимо ног спящих и того, во что эти ноги были обуты, но подолгу останавливались на том, чем спящие были покрыты. Ибо в порядке дня стояла теплая одежда. В этот день с утра дул ветер, погода менялась на зимнюю, и раздетые люди, намерзшиеся в очереди перед впуском в ночлежку, входили в нее с готовым решением добыть себе шкуру во что бы то ни стало. При мутном ночлежном освещении одинаково растерзанные фигуры казались на одно лицо и запоминались скорее на слух, каждый по своей манере трепаться.

Ночью, когда в камере в разных местах уже храпели, на Васиной койке происходило совещание. Намечались дела в разных камерах.

— В шестнадцатой: френчик на средний рост... — донес Колька.

— В двадцатой: шуба не то чтоб плохая... — сообщил Сенька.

— Далеко ходить, — просипел Васька. — Есть дела ближе.

— Где? — спросили Сенька и Колька, заинтересовываясь.

— Да вот...

Койка под друзьями заскрипела и качнулась, ибо все они повернулись в одну сторону, и ветерок от движения прошел у меня по спине.

— Вещь чистенькая, — сказал Васька. — Сова в умывалке с места червяка даст...

— Кто его знает?.. — отозвался Сенька не сразу и не в тон друзьям. — По-моему, не стоит мараться.

Это было выгодно для меня, но обидно для моего пиджака, и Сенька с первого слова представился мне человеком легкомысленным, не знающим цены вещам. Однако дальнейшее заставило меня изменить мнение об этом человеке и посмотреть на него с совершенно новой стороны. Ибо Сенька, конечно, отлично знал цену моему пиджачку, и если не хотел о него мараться, то только потому, что корысть в нем побеждалась более возвышенными соображениями.

— Мало взять вещь, — сказал Сенька рассудительно и задумчиво.

— Надо знать, у кого берешь? Что за человек? В каких обстоятельствах? Может, ему самому жрать нечего?

Это были взгляды, которые сделали знаменитыми Арсена Люпена, Картуша и многих других воров-джентльменов, и я был рад отметить, что низовые работники взлома, в гораздо более неблагоприятных условиях, также были им не чужды.

— Сапоги на нем — смотреть не на что, — продолжал Сенька, переходя от общих рассуждений непосредственно ко мне. — Актер, что ли, какой? Или студент? Или, может, свой брат — деловой? Я таких не трогаю...

— Больно жалостлив, — ответил на все его рассуждения Васька. — Точно тебя кто когда жалел?

— Чем он хуже других? — недоумевал и Колька.

— Ничем не хуже, — ответил Сенька. — Но только это не моя большая дорога...

— Хочешь работать один? — спросил Васька, проще объяснивший себе его упорство. — Валяй...

И Сенька, отмолчавшись, встал и ушел в другие места искать свою большую дорогу, а Васька с Колькой продолжали разговор о пиджачке.

— Нам червячок сейчас во как пригодится, — шептал Васька. — Первым делом хламида, тебе и мне. Вторым делом — белишко, банька. Хорошо, Колька, в баньку сходить.

— Еще бы, — мечтательно отозвался Колька. — Вошвы на мне, как на цыгане...

— Аннулируем вошву к чертовой матери, — одушевился Васька. — Отдышимся, горячего хлебнем.

Оживившись, он даже перестал скулить и заговорил просто и с теплотой. Минимум человеческого благополучия — ходить в хламиде и не быть поедаемым вшами — возник перед ним, и этого было достаточно, чтобы наморенный, одичалый человек забыл свою злость и свой наигранный гнусавый скепсис.

— Он, дьявол, пиджачок изнутри к руке привязал, — сказал Колька. — Думает, мы этих фокусов не знаем.

— Если проснется, возьмем его на хомут, только и всего, — решил Васька. — Давай, Колька, по очереди спать. Сначала я, а потом ты. А в пять сделаем дело.

— Давай, — согласился Колька.

И Васька с места заснул, а Колька, борясь со сном, стал полегоньку насвистывать. Я лежал накрывшись и размышлял о том, почему взять ближнего на хомут удобнее всего именно в пять

часов? Не потому ли, что в пять открывается выходная дверь и есть возможность после захомутания без шума исчезнуть?

Я считал свое дело проигранным. В пять часов утра пиджачок с меня будет содран. Если я не услышу, операция пройдет без шума. Если я проснусь — меня возьмут на хомут. Защититься против Васьки с Колькой я мог только бегством, но куда бежать, если до пяти выхода нет, а в каждой камере есть свои Васьки и Кольки. Можно было бы, конечно, обратиться к средствам моральным, поговорить с Васькой по душам, рассказать ему свои дела, а ему самому посоветовать «перейти на честный» и не строить своего благополучия на чужих пиджачках... Но, конечно, Бог знает, какая кислота получилась бы от таких речей в камере, где одна часть обитателей жила от привода до привода, а другая, численно бóльшая, честно рылась в московских помойках, добывая себе этим хлеб, половинку и ночлег.

Я уснул, потому что не было смысла пересиливать сон, раз дело было все равно заранее решено, но проснулся задолго до пяти от шума. Шумел новичок, тот самый, которому Васька пообещал вставить и который был так неопытен, что выйдя на минуту в уборную, оставил на койке пальто и пожитки, и вернувшись, конечно, их на месте уже не нашел. Дело было сделано так быстро, что он ничего не понимал и даже воображал, будто кто-то хотел над ним подшутить.

— Если это шутки, — говорил он, расхаживая по камере налегке, — то шутки дурацкие. Отдавайте вещи. Мне холодно.

Он заглядывал под койки, мыкаясь по камере без толку и встречая лишь равнодушные и ругань.

— Ради Бога, — спрашивал он соседей, — не заметили ли вы, кто взял мои вещи?

Но соседи молчали. Сами они, может быть, и не взяли бы его вещей и даже по углам поругивали тех, кто этим занимался, но выступать открыто против шпаны — на это они не решались.

— Так учат дураков, — сказал новичку один.

— Завтра ищите свои вещи на Сухаревке, — посоветовал другой.

— Сами виноваты, — сказал и надзиратель, пришедший на шум. — У нас предупреждения на каждом углу.

И показал надпись на стене, где какой-то юморист уже стер в одной букве перекладинки, отчего вся надпись стала двусмысленной.

«Берегись коров», — прочел на стене новичок, задумался и смирился.

Колька лежал, насвистывая. Васьки на месте не было. Он вернулся попозже, когда все стихло, и ложась шепнул Кольке:

— Три трояка...

И я понял, что судьба послала друзьям жертву вместо меня и что теперь, когда у них есть деньги и на бельишко и на баньку, они, может быть, удовлетворятся ими и не станут ждать пяти часов, чтобы брать меня на хомут.

Вечером ситуация была та же, и не было лишь пиджачка, который я, желая спать без помехи, сдал на хранение. В одеянии друзей не произошло никакой перемены; по-прежнему они были без хламид и в грязных рубахах, и это значило, что три трояка пролетели у них на другие дела.

— Дурака свалили, что вчера проспали, — сказал Васька Кольке, когда совещание на Васькиной кровати возобновилось. — Червячок сам в руки просился...

— Он, стерва, пиджак на хранение сдал, — сообразил Колька. — Больше ему, гаду, некуда подеться...

— И на что, сволочь, надеется? — возмутился Васька. — Ведь квитанция-то при нем. И вся остановка: узнать, в какой башмак он ее запрятал?

— В левый? — предположил Колька. — На левом шнурок через верх завязан.

— Увидим, — сказал Васька. — Проверим и левый и правый. Бритва, Колька, с тобой?

— Не люблю квитанций, — заметил Сенька, также присутствующий на совещании. — Грамотного на квитанцию не возьмешь. Он номер помнит.

— И пусть его помнит, — усмехнулся Васька. — Он в семь проснется, а мы в пять его вещи получим...

А я слушал и ежился, ибо действительно квитанция лежала у меня в левом ботинке, и оставалось только удивляться, как мало возможностей было у меня перехитрить Ваську с Колькой. Я выждал момент, спустился в контору, сдал на хранение квитанцию от хранения и, вернувшись, нарочно на Васькиных глазах переобулся, чтобы он видел, что в ботинках у меня ничего нет. Он следил за мной со скукой, показывающей, что шутки ему давно надоели.

Ночь прошла без происшествий, но утром я решил продать пиджачок, чтобы разделаться с ним начисто: слишком много с ним было возни.

При этом и произошел тот разговор с маклаками, о котором говорил я вначале. Когда постельное происхождение пиджачка выплыло наружу, цена на него остановилась на шести рублях. Следовало бы помириться на этой цифре и взять шесть рублей, но я все медлил, поджидая, не подвернется ли кто-нибудь, кто даст больше. И действительно, ко мне подошел человек, который сказал, что если вещь ему будет впору, он не пожалеет и красненькой. С ним за консультанта был другой человек, уверявший, что меня ценой не обидят, что если бы я был маклак, со мной был бы один разговор, но раз я торгую не на барыш, раз я продаю последнее, если я неимуций — актер, что ли, какой или студент, — то разговор со мной будет другой. В голосе этого человека были ноты чем-то мне знакомые, сочувственные, убедительные, принципиальные... К сожалению, только через несколько минут я вспомнил окончательно, кто это был...

Вечером я снова лежал поблизости Васьки и Кольки, покупивал в рукав, помалкивая, слушал. Погода в этот день пошла на оттепель, людям без хламиды была дана отсрочка. У Кольки под глазами был синяк, результат неудачной работы на Сухаревке, где они у кого-то что-то пытались вырвать из рук. Васька в этом деле не пострадал: отмолился. Колька мстил ему, громко рассказывая, как хныкал Васька, когда дело дошло до кулаков, как просил прощения, изображая простака, вопил:

— Больше не буду...

Рассказ рассмешил всех в камере, кто, глядя на Ваську, пытался представить его себе в этом положении. И только сам Васька смотрел по сторонам скучно и брезгливо, удивляясь, что люди находят в этом смешного?

— Пиджачок-то на Смоленском на руках видел, — сказал Колька Ваське, когда внимание их снова обратилось на меня. — Он его, гад, продал...

— И отлично сделал, — усмехнулся Васька. — Значит, денежки при нем. Я у него все ходы и выходы знаю. Не мог в один день червяка извести. Он ситным да колбасой кишку набил, а девять с полтиной при нем. Не спи, Колька, смотри в оба...

Но тут я повернулся к друзьям, впервые чувствуя, что моя зависимость от них кончилась и я могу быть с ними откровенным. Ибо, хотя действительно все мои ходы и выходы были им известны заранее, одно обстоятельство они упустили из виду.

— Не тратьте на меня времени, — сказал я им с грустным чистосердечием. — Денег у меня нет. И квитанций тоже нет. Я чист. А за сколько продан мой пиджачок и где эти деньги — об этом спросите того шпану, который ошманал меня сегодня на базаре. Это Сенька, ваш приятель, тот самый, который говорил, что чистить таких как я — не его большая дорога.

Леонид Губанов

«ПЕТЕРБУРГ»

А если лошадь, то подковы,
Что брызжут сырью и сиренью,
Что рубят тишину под корень
Непоправимо и серебряно.
Как будто Царское село,
Как будто снег промотан мартом,
Еще лицо не рассвело,
Но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
Справляю именины вора,
Сшибаю мысли, как ворон,
У губ с багрового забора.
Мой день страданием убелен
И под чужую грусть разделан.
Я умилен, как Гумилев
За три минуты до расстрела!
О, как напрасно я прождал
Пасхальный почерк телеграммы.
Мой мозг струится, как Кронштадт.
А крови мало, слышишь, Мама?
Откуда начинается грусть?
Орут стихи с какого бока?
Когда вовсю пылает Русь,
И Бог гостит в усадьбе Блока.
Когда с дороги, перед вишнями
Ушедших лет, ослепших лет
Совсем сгорают передвижники,
И есть она, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
Прибитая злосчастной верой,
А Петербург, в котором — сыщики
И под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
И смерть напрасно ждет свиданья.
Я околован, я укатан
Санями золотой Цветаевой.
Марина, — ты меня морила,
Но я остался жив и цел.

А где твой белый офицер
С морошкой молодой молитвы?
Марина! Слышишь, звезды спят
И не поцеловать досадно,
И марту храп до самых пят,
И ты, как храм, до слез, до самых.
Марина! Ты опять не роздана.
Ах, у эпох, как растерях.
Поэзия! Всегда — Морозова,
До плахи и монастыря!
Её преследует собака,
Её в тюрьме гноит тоска,
Горит, как протопоп Авва́кум,
Бурли, — бурлючая Москва!
А рядом, тихим звоном шаркая,
Как будто бы из-за кулис,
Снимают колокольни шапки,
Приветствуя Социализм!

Модернизм - духовная революция

«Если бы я не погибал, то я бы погиб».

Кьеркегор

«Произошло изменение сущности человека».

Вирджиния Вульф

«Существовать означает трансцендировать».

Гейдеггер

«Модернизм означает изменение религиозного субъекта».

Бердяев

О ДУХОВНОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Мы часто говорим о необходимости в наше время духовной революции. Все прошлые социально-политические революции не были духовными революциями. В них участвовали более поверхностные душевно-эмоциональные слои человека. Эти революции происходили под знаком антропоцентризма — горделивого атеистического и рационалистического сознания того, что человек будто бы является вершиной мира, вершиной всякого бытия. Сознание и интеллект человека горделиво отвергали всё иррациональное — подсознательное, сверхсознательное, трансцендентное. Но, как говорит знаменитый глубинный психолог К. Г. Юнг, отрицание сознанием всех иррациональных сил подсознания неизбежно приводит к тому, что сознание или центр его — человеческое я начинает идентифицировать, отождествлять себя с проникающими в поле сознания иррациональными силами, что приводит к «раздутости» сознания, надменности, чрезмерной самоуверенности, горделивости или к более трагическому состоянию — одержимости (например, идеями, идеологиями). Эти явления Юнг называет «инфляцией сознания». Под знаком такой инфляции

сознания протекали, например, французская и российская Октябрьская революции.

Всякая революция стремится к чему-то новому, но так как социально-политические революции прошлого затрагивали лишь более поверхностные слои человека, то они не могли носить характера радикальной новизны, радикального духовного обновления, перерождения. Это становится особенно ясно теперь, в эпоху столь радикальной революции в области культуры. Эта духовная революция наметилась во второй половине прошлого века, усилилась к концу прошлого и началу нашего XX века и вылилась в радикально новые формы того, что мы теперь временно называем «модернизмом». Теперь, в начале второй половины XX века перед нами уже развернута целая панорама всех областей новой, целостной в своей структуре «модернистической» культуры. И если взглянуть на революционные порывы и дерзания пионеров и новаторов этой культуры с их разрывом со многими старыми культурными традициями, с их борьбой за радикально новые формы творчества, то по сравнению с ними новизна содержания и форма всех прошлых социально-политических революций бледнеет и представляется скучной.

Но недостаточно одного лишь сознания необходимости того, что у нас обозначается выражением, к тому же неясным, и, по нашему мнению, натянутым — «духовная революция», даже если этому сознанию соответствует определенное идейное содержание. Новое содержание и новая форма возникают одновременно и экзистенциально. Новое вино вливается в новые мехи, новое содержание требует новых форм. Всякая гуманистическая и моралистическая реставрация еще не есть революция. Даже гуманистическая, философская реставрация истинной иерархии ценностей еще не есть революция. Ибо реставрация не есть революция.

Самое волнующее в модернизме — это новая форма творчества, новая форма переживания. Духовный революционер, наш соотечественник абстрактный художник Василий Кандинский (1866 г. - 1944 г.) писал:

«Живопись искала новые формы, и еще мало кто знает, что это были подсознательные поиски нового содержания».

Герда Целтнер-Нейкомм в своей книге о дерзаниях современного «нового романа» (в создании которого, кстати, играет ведущую роль тоже наша соотечественница, писательница Натали Саррот, урожд. Черняк) пишет, что одним из моментов, объединяющих творцов «нового романа», является сознание того, что сов-

ременное изменение в восприятии мира может быть понято только лишь как проблематика художественной *формы*. Это можно отнести к модернизму в целом, а также вообще к новой духовной, *экзистенциальной установке* и вне области искусств (исключив слово «художественный»). То, что тенденциозно осуждается в новых искусствах как «формализм», не есть какой-то суррогат или новая форма интеллектуализма. Это есть результат здорового критического скепсиса, которым отвечает интеллект на тягу души к иррациональному, мистическому. «Сомнение ведет к форме», сказал Поль Валери. В духовной ситуации современных искусств царит Аполлон, светлый художественный разум. Душа с ее новыми стремлениями доверяется этому разуму, который заботится о том, чтобы необходимость этих стремлений души была бы доказана в тщательной проверке. Только в новой форме устанавливается необходимое и надежное сочетание конструирующего интеллекта с иррациональными слоями души (архаическими, магическими, мистическими), сочетание интеллекта и интуиции, сознания и подсознания.

Трезвость мышления и честность художественной совести характерны для современных искусств, этого «спекулятивного феномена» (выражение Стравинского). Все более или менее выдающиеся представители современных искусств пишут свои «поэтики», философствуют об искусстве, о творчестве. Это еще небывалое явление в мире искусств. Художник Пауль Клее сказал, что современный художник не может не быть философом, хочет он этого или нет. Можно говорить о возникновении целого нового мировоззрения творчества.

Конечно, в признании иррационального и в тяге к нему еще нет ничего радикально нового. Новое в том, *как*, в какой *форме* оно переживается. Интересно, что о новой духовной установке можно говорить еще шире, вне связи с иррациональным. Даже такие представители модернизма, как Сартр или Камю, которые отрицают всякую трансцендентность, являются революционерами в отношении формы, формы мышления, ощущения, формы жизни. Поэтому их произведения очаровывают. Многие произведения Камю вызывают у достаточно восприимчивого чувствительного читателя некое внутреннее, «беспредметное» религиозное звучание. Но мы надеемся, что читатель постепенно поймет нашу мысль из дальнейшего нашего изложения. В экзистенциальной философии различаются две категории авторов, те, кто не совершает «прыжка в трансцендентность» (Сартр, Камю), и те, кто его совершает (Гейдеггер, Ясперс, Бердяев).

Для первых жизнь возможна лишь как особая, новая форма творческого существования, вторые предъявляют к жизни еще более радикальные требования: для них «существовать означает трансцендировать». Для модернистов спасение и выход из создавшейся ситуации означает жизнь как творчество и трансцендирование. С точки зрения психологии, пожалуй, можно говорить о трех видах модернистического творчества:

1. Пребывание на грани абсурдного и абсолютного, на грани несовместимых, но комплементарных противоположностей, при подсознательном пребывании где-то у границы трансцендентного.

2. Трансцендирование «вниз», т. е. в подсознание (например, сюрреализм).

3. Трансцендирование «вверх», в сверхсознание, т. е. переживание своей самости, духовно-душевной целостности человека.

Первый и третий вид творчества требуют большой активной интеллектуальной дисциплины и конструктивности. Второй вид творчества имеет в значительной мере характер пассивного автоматизма, и слишком большое увлечение им, при потере контроля сознания, связано с известной душевной опасностью для человека. Но и у представителей первого вида творчества сознание должно быть все время начеку. Поэтому Альбер Камю говорит: «У нас всех страшная потребность в мышлении».

Радикальное требование — существование как творчество и творчество как существование — родилось (по крайней мере на Западе) из самой радикальной проблемы, какая вообще может быть и которая гласит: быть или не быть, бытие или ничто. Такое радикальное требование творчества возникло из чувства страха и отчаяния. Эту духовную ситуацию постепенно подготовил крайний рационализм, интеллектуализм, отвергающий все иррациональное, всякую тайну. Он объективировал, опредметил и этим омертвил внутренний и внешний мир человека, создал чувство неукорененности, бездомности, чувство страха и отчаяния перед «ничто». Интеллект «убил» Бога, идеалы, идеи ценности, смысл истории, смысл мира, смысл жизни. Даже внешние предметы природы перестали что-либо говорить человеку. (Кстати, с этим связано возникновение абстрактной, беспредметной живописи).

Тут кроется неплохой логический аргумент против атеистов: предметы природы «убиты», перестали что-либо говорить человеку, но они все же существуют, почему же «убитый» Бог также не может существовать?

Но дело в том, что в наше время логические аргументы в духовной и религиозной жизни утратили свою действенную силу, как и вообще все «логизмы» теряют прежнее значение, о чем уже говорил русский философ Флоренский. Но о нем в этой связи мы еще скажем в заключительной части наших очерков.

В этом общем «крушении вер» сыграли большую роль и внешние исторические катастрофы: мировые войны, революции, ужасы тоталитарных режимов (коммунизм, фашизм), приведшие к потере слепой, оптимистической веры в человека и исторический прогресс.

Но все эти внутренние и внешние кризисные процессы и явления тесно связаны между собой, представляют собой единое целое и являются следствием глубинных подпочвенных перемен, сдвигов и катаклизмов, происходящих в коллективном подсознании человечества. Со всем этим находится в непосредственной связи радикально новая форма всего модернистического творчества.

Вышеописанная духовная ситуация возникла, конечно, не сразу, она подготавливалась в течение XIX века и даже еще раньше. Вся богатая культура XIX века цвела пышным цветком и протекала как бы над бездной черного «ничто». Но лишь немногие чуткие умы смутно, каждый по-своему, это ощущали. Это были, например, Гойя, Кьеркегор, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, ван Гог и др. В начале же нашего XX века появились уже целые плеяды людей, охваченных тревожными чувствами, и один из них, Александр Блок, писал:

Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла.

Один из титанов уходящей старой, «классической» культуры Лев Толстой под конец своей жизни впал в духовный кризис и отказался от своего творчества. Этот факт мы особенно подчеркиваем. Ибо мы видим в нем радикальное различие между прежней культурой и новой — модернистической. Новое культурное творчество как раз спасает новой формой творчества, в которой, конечно, выражается новая духовная установка человека.

В чем заключается новая форма творчества? Это прежде всего *прерывность, фрагментарность*. Это отсутствие линейной непрерывности, описательности*), анекдота, смысловых, логическо-дискурсивных, предметных связей. Отсюда трудная «понимаемость» («герметизм»), на место которой выступает суггестивность или сила прямого внушения, непосредственное, «магическое» действие. Здесь связи более глубокого, иррационального характера, как искры прозрения в местах разрывов, перерывов и прорывов. Это прямое «фронтальное» действие, как бы по перпендикулярной линии к человеку («боксерский удар»), вместо «параллельной» к нему линии, протекающей мимо него и более пассивно и спокойно наблюдаемой лишь со стороны. Отсюда первый «парадокс» или «диссонанс»: одновременное соединение «непонятности» с захватывающим, очаровывающим действием («Сомнительный восторг» А. Шуга и «Звуки» в «Фениксе» № 1, 1962 г.).

Кто-то сказал, что у современного человека зачах «метафизический орган». Модернизм как бы призван оживить этот орган прямым, непосредственным воздействием на него, пробудить, расшевелить самое примитивное, элементарное и потому самое основное религиозное чувство, которое еще существовало у первобытного, «магического» человека в его подсознательных, архаических, «земляных» пластах («Сомнительным восторгом *землю* обув»... А Шуг, «Феникс» № 1), пробудить чувство восхищения, «беспредметную» религиозную вибрацию души, близкую к безотчетному экстазно-религиозному трепету (мистерииум тремendum).

ФИЛОСОФИЯ. МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА

Чтобы нагляднее показать новую форму творчества, мы сперва приведем высказывания философа модерниста Бердяева о свойствах духа, а затем скажем о соответствующей им форме творчества и изложения Бердяевым его философии, тем более, что многие из наших молодых поэтов считают этого философа своим учителем.

В своей книге «Дух и реальность» Бердяев пишет:

«Дух есть *прорыв* в этом отяжелевшем мире, динамика, творчество,

*) Даже в современной физике невозможно установить описание линейного, непрерывного пути движения квант, но лишь прерывистые «квантовые скачки». — А. П.

полет... В духе есть прометеевское восстание против богов природы, против детерминизма человеческой судьбы, есть *порыв* и *прорыв* к высшему свободному миру... Духовность... означает... реализацию личности... Личность реализуется через победу духа над хаотическими душевными и телесными элементами... Дух означает *прерывность*, *прорывность* в жизни мира, в истории мира. Дух не действует путем эволюции... Нет развития духа... Дух есть прорыв. Он действует как сила, *переступающая* пределы и границы... Жизнь духа есть *неустанное трансцендирование*. В нем (в духе) трансцендентное есть свое собственное, родное...» (все подчеркнуто нами. — А. П.).

Эти определения свойств духа вполне соответствуют той форме, в которой Бердяев творит и излагает свою философию. В своей автобиографии Бердяев говорит, что когда он начинает писать, то сразу же впадает в творческий экстаз. Важнейшие его мысли это *прорывы* в вечное и *прорывы* вечного. Поэтому изложение его *прерывистое*, оно не есть дискурсивно-логическое, линейно-непрерывное *описание*, в нем нет систематической логической связи. Оно интуитивно-синтетическое. Бердяев пишет афоризмами. Его афоризм есть микрокосмос мысли, в нем в *сжатой* форме содержится вся философия Бердяева. Он уходит корнями в некий общий глубинный центр этой философии. В этой глубине — интуитивно-синтетическая связь афоризмов между собой, со всем философским космосом Бердяева. Последнее будет полезно вспомнить, когда мы будем говорить о современных искусствах. Для философии Бердяева не существует ничего делимого и отдельного. Связи, существующие в отдельном, в обособленном, он схватывает в связи с целым, со смыслом мира. По ту сторону незначительного и отдельного он видит духовную действительность, из которой изливается свет на все остальное. В трансцендировании преодолевается объективизация; творческий взлет, экстаз, снимает различие между субъектом и объектом, он есть переход через границу, по ту сторону этого различия. Здесь разрешается основная проблема современности, устраняется, преодолевается объективизация, опредмечивание, о котором мы говорили выше. Все вышесказанное о творчестве Бердяева применимо и к современным искусствам.

Многие современные философы говорят, что со времен Кьеркегора чувство страха перед «Ничто» превратилось в волнующий феномен, без которого современный человек не может быть более

понят*). Отсюда следствие: *экстазовая структура современного человека*. Это видно, например, из творчества величайшего современного философа-новатора Гейдеггера. Согласно Гейдеггеру, существовать означает трансцендировать. Только в акте трансцендирования человек обретает свою сущность, становится личностью. Философия Бытия Гейдеггера — модернистическая, прерывность в философии позднего Гейдеггера выражается в актах раскрытия, откровения трансцендентного Бытия: в мистические моменты, независимо от субъективного хотения человека, в состоянии его самоотречения происходят прерывности, перерывы текучего времени, и человеку открывается истина: трансцендентное Бытие как полнота, единство космического бытия.

Творчеству позднего Гейдеггера соответствует и форма изложения. Он пишет языком, напоминающим язык модернистических поэтов. К тому же Гейдеггер говорит, что истинная философия должна приближаться к искусству. С другой стороны, модернистические искусства (поэзия, живопись) сами являются философией (не описательной, конечно) и часто имеют онтологическое (бытийственное) содержание.

Этот поздний период есть знаменитый «поворот» («Kehre») в творчестве Гейдеггера. В первом, подготовительном периоде творчества Гейдеггера философствование протекало как обычно, от философа-субъекта к предмету философствования. Во втором, более позднем этапе творчества Гейдеггера субъектом философии является само трансцендентное Бытие, открывающее себя в человеке, и философия протекает в обратном направлении. Гейдеггер восстает против традиционной метафизики, основанной Платоном, против «философии представления», «метафизики субъективности», опредмечивающей предмет философствования. Философия Гейдеггера, как и современная микрофизика, устраняет различие, противостояние, дуализм: субъект — объект. Открывающее себя в человеке Бытие устанавливает «органическое» единство человека с миром, единство, устраняющее, как вы-

*) Но этот страх может соприкасаться со страхом и трепетом перед Господом Богом, о котором говорится, например, в 1 Псалме Давида. Мистический страх перед «Ничто» и страх и трепет перед Богом (а в наше время перед некой трансцендентностью) могут неким образом соприкасаться. То же было и со Христом на кресте Голгофы: отчаяние богооставленности, переживание «Ничто» и последующая великая Благодать Воскресения.

разился поэт Готфрид Бенн, «судьбоносный западный невроз».

Гейдеггер говорит об историчности трансцендентного Бытия, которое создает разные культурно-исторические эпохи и в них действует по-разному, в скрытом виде или открывая себя в человеке. Приблизительно со времен Платона, после до-сократиков был исторический период «забвения Бытия». Наше время есть начало эры, когда Бытие раскрывает себя снова в человеке. Создавая новые культурно-исторические эпохи, Бытие порождает новые ценности, все становится новым, обновленным, является в новом аспекте. Это касается и религии. Так как Бытие объединяет и определяет все сущности, которые им держатся, то историчность Бытия создает историчность, изменяемость сущностей. Великие эпохи в истории человечества тем велики, что в них сама сущность является в измененном виде: сущность человека, искусства, науки, политики, нравственности, права, истины, присутствие — «при-сущ-ность» (An-Wesen) Бога и этим самым сущность религии. В философии Гейдеггера, точнее, в ее структуре есть свободное место для Бога. Но времена для заполнения этого места, по-видимому, еще не исполнились. Философия Гейдеггера может быть фундаментом для будущей религиозной философии, писать которую будут философы, вероятно, под прямым, непосредственным действием Благодати Св. Духа.

Известный математик Кассирер говорит об изменении стиля современного мышления вообще. Он говорит, что теория относительности Эйнштейна подтверждает его убеждение в том, что развитие научного и философского мышления шло от предметного, т. е. наглядного мышления в сторону функционально-реляционного мышления, лишенного наглядности. В связи с переходом к неевклидовой геометрии, Кассирер говорит, что никакие измерения не касаются самого пространства, но лишь того, что эмпирически дано в пространстве. Поэтому никакой опыт не может ничего нам сообщить об *идеальных* «платоновских» предметных образованиях, прямых и окружностях, положенных в основу чистой геометрии. Все, что опыт нам дает, есть лишь знание об *отношениях* между собой материальных вещей или процессов. Пространство утратило последний остаток «физической предметности». Действительность, которую неевклидова геометрия может и стремится выражать, *не есть таковая вещей, но законов и отношений*. Вместо чувственной наглядности выступает символический язык, состоящий из комплексной связи отношений. Таково же положение и в современных искусствах.

Поразительно, что в микрофизике (квантовой физике) к этой аналогии с искусствами прибавляется еще явление прерывности. Здесь физик регистрирует и наблюдает не объективные процессы, линейно протекающие перед ним, как, например, астроном наблюдает движение планеты. Микрофизик регистрирует лишь процессы, возникающие в результате *взаимоотношений* между исследовательским аппаратом и объектом исследования. Он лишь регистрирует прерывистые квантовые скачки. В микрофизике мы имеем дело с фрагментарностью, с невозможностью логически и экспериментально одновременно соединить две противоположные стороны некоей, умом непостижимой реальности: волны и корпускулы (элементарные частицы). Но эти не соединимые вместе стороны всё же являются комплементарными, дополнительными (взаимодополняющими), ибо обе они принадлежат к чему-то одному. И человек интуитивно чувствует, что где-то в более глубокой сфере существует некий скрытый, умом непостижимый синтез этих двух сторон. Человек как бы смотрит в непостижимую пропасть перед ним, лишенную всякой наглядности, в некую трансцендентность, и это производит fasciniрующее действие на него. В этой связи известный немецкий атомный физик и философ К. Ф. Вейцзеккер говорит:

«В объективном порядке природы дух человека встречается с тайной своего собственного происхождения и чувствует, как чистое бытие как бы становится прозрачным в качестве носителя больше уже не выразимого значения».

Квантовую (атомную) физику можно было бы вполне назвать «модернистической».

Критик Альбера Камю Лизелотте Рихтер делает интересное сравнение этой комплементарности в микрофизике и теми комплементарными (дополнительными) контрастами, на грани которых протекает литературно-философское творчество Камю. Это есть одновременно сознание своего одиночества и потребность солидарности, сознание того, что человек не может жить вне истории, но он и не должен ее обожествлять, подобно Гегелю, он должен одновременно пребывать и вне истории. В конечном счете у Камю — протест против абсурдного и одновременное требование его, ибо иначе не было бы абсурдных и все же дополнительных противоречий, контрастов.

ЖИВОПИСЬ

Итак, современный физик больше не стоит *перед* природой как объектом, в качестве как бы пассивного наблюдателя. Перед ним не «картина природы», но «картина» взаимоотношений, взаимосвязей с природой. Подобное же положение и в современной живописи. Художник не стоит *перед* природой как предметом, но за внешним видом предметов природы он видит скрытую взаимосвязь между ней и собой. Во взаимоотношениях с предметом природы предмет как бы растворяется (материя растворяется), и между ним и художником устанавливается единство в более глубоком плане, переходящем за границы видимого. За видимыми предметами художник ощущает иррациональную или метафизическую глубину как нечто общее между ним и природой, и в этой глубине устанавливается единство между ним и предметами, преодолевается художественная и философская проблема противоположности субъекта и объекта, внутреннего и внешнего.

Это легче всего показать на примере предметной модернистической живописи, на «магическом реализме» или на итальянской «питтура метафизика», «метафизической живописи». Самый незначительный, «никчемный» предмет ставится в необычную для него, чуждую, непонятную обстановку, или же предмет комбинируется с другими предметами вне всяких нормальных смысловых, логических и других связей. Это молчаливое бытие изолированных предметов создает таинственную атмосферу, магическое визави вещей, напоминающее то чувство магического единства с вещами и миром, которое существовало еще у первобытного человека. В новом метафизическом аспекте предметов познается высшее, потустороннее состояние бытия, в котором устанавливается единство внутреннего с внешним.

Говоря о модернистической живописи, необходимо сказать об исходной духовной ситуации, из которой она родилась. Об общей духовной ситуации, из которой возник модернизм, мы кратко сказали уже выше. Вальтер Хесс в своей книге «Документы к пониманию модернистической живописи» пишет, что современный художник не имеет в своем распоряжении готовых и общеобязывающих образов и представлений, связанных с религиозными и духовными ценностями, он не имеет готовых символов мифической мощи, объясняющих содержание, порядок и строение мира. Такие символы искусство не может придумать. Они еще должны органически вырасти из жизненного центра всей культуры в целом. Здесь мы можем указать на слова глубинного психолога

К. Г. Юнга, который сказал, что душа современного человека как табула раза, на которой еще должно быть что-то начертано. Также и внешний мир явлений, — пишет далее Хесс, — превратился в иллюзию ничего больше не говорящих условных связей, он больше не опирается на прочный фундамент из связи смыслов и значений. Если содержания живописи, как в XIX веке, высыхают в «литературу», в историю, психологию и ни к чему не обязывающий анекдот, то они угрожают задушить творческие силы, вместо того чтобы их оплодотворять.

Не имея перед собой готовой интерпретации мира, художник должен ее сделать самостоятельно, единственно при помощи средств живописи. Поэтому живопись обращается к единственно ей данному, что не вызывает сомнения, — к элементарным изобразительным средствам. Действительностью для художника становится нечто, что *он еще должен создать без всяких предпосылок*. Теперь он уже должен не изображать, но *делать действительным* (выражение Сезанна), не изображать видимое, но *делать видимым невидимое* (выражение Клее). Художник чувствует себя поставленным перед заданием пробиться сквозь мир явлений к некоему неизвестному; найти порядок, смысл и цельность при помощи чисто творческого процесса и, таким образом, сделать их видимыми или дать почувствовать; преодолеть расстояние между «я» и «природой», внутренним и внешним при помощи лишь одного искусства.

Точка единства мира решительно переместилась в сам творческий акт.

Всё здесь сказанное относится, конечно, ко всем современным искусствам. Из вышеизложенного уже становится ясно, что художественный творческий акт одновременно превращается в акт познания, метафизического познания мира, космоса. Последнее относится к тем творцам, которые признают трансцендентное. Они же и становятся творцами своих автономных, самостоятельных миров-космосов.

Еще импрессионисты освободили краски от их связанности с предметами и этим открыли новый, более богатый своими возможностями автономный мир чистых элементарных (спектральных) красок. Модернизм начинается не от импрессионистов. Заслуга последних в том, что модернизму они поставили новый материал — автономный мир красок. Это дало возможность Поллю Сезанну, родоначальнику почти всех направлений модернистической живописи, при помощи этих автономных красок творить свои автономные миры — картины, не работать с натуры, а парал-

лельно природе, кристаллизуя краски в предметные образования картины. «Живопись есть гармония, *параллельная* природе», — это определение Сезанна стало знаменитым и повторяется художниками XX века. Также Сезанн уточнил понятие реализации. Наиболее часто употребляемое выражение Сезанна — «реализацию сделать действительной», имеет в виду чисто художественную действительность, в противоположность действительности реализма, который копирует, изображает лишь картины явлений.

Кубисты (Пикассо, Брак) стремятся понять самое бытие, неизвестное бытие предметов, самобытность, идею предметов. Подобно тому, как импрессионизм отошел от привычной действительности, от привычного мира явлений к чистой видимости оптических явлений и сохранил лишь чистые краски, кубизм освободил живопись от обычного вида предметов как явлений, сохранив лишь их конструктивные элементы. Опираясь на Сезанна, кубизм в творческом процессе, параллельно природе, стал реализовывать из этих элементов свои самостоятельные, автономные «картины-объекты», противопоставляя их предметам природы. Картина не должна выражать идею, мотив, побудившие к творчеству. Эти субъективные факторы должны быть совершенно поглощены тем объективным образованием, которое есть найденная в процессе творчества новая вещь. Картина, этот новый предмет, просто *есть* (бытийствует).

Появилось понятие «*нахождения картины*» в процессе медитативного оперирования абстрактными элементарными средствами изображения. В этом творческом процессе художник полностью предоставляет себя *инициативе* красок и форм и заранее не знает о виде и содержании картины. Это будет интересно вспомнить, когда мы будем говорить о современной поэзии. Творческий акт есть авантюрное путешествие в неизвестное. Пикассо сказал: «Я не ищу, я нахожу». Ибо искание есть в известной мере знание наперед. Нахождение же — открытость ко всему, ко всякому неожиданному, случайному познанию. Пауль Клее отметил: «Художник знает очень много, но он знает лишь после». Этому методу нахождения должно соответствовать и отношение созерцателя к картине, т. е. его открытость, его готовность к неожиданным *находкам*, открытиям, озарениям.

Импрессионисты и кубисты дали живописи элементарные краски и конструктивные формы. Ван Гог показал большое значение выразительности линии.

Художник Пауль Клее говорит, что этот материал абстрактных элементарных средств находится в аналогии с элементами при-

роды, и живопись творит не с натуры, а из своих собственных элементов, как природа. Картина есть такая же самостоятельная реальность, как и природа. Согласно Клее, искусство имеет отношение к творению мира как подобие, оно есть пример, подобно тому, как все земное есть космический пример. Клее в своих лекциях говорил:

«Следуйте творческим путям природы, чтобы быть такими же богатыми, подвижными, своевольными, как природа. Может быть, вы сами станете природой, будете творить, как природа...»

Клее, давая объяснение значениям формальных элементов в своих графических работах, писал следующее:

«Движение лежит в основе становления. Генезис библии («Книга бытия», книга о сотворении мира) есть хороший пример движения. Также и художественное произведение есть в первую очередь генезис. Никогда оно не переживается как продукт...

...Некий огонь становления оживает, направляется по руке дальше, течет на бумагу и по бумаге, бросается искрой, замыкая круг, туда, откуда он пришел: обратно в глаза... Глаз созерцателя ощупывает подобно пасущемуся животному. В картине ему приготовлены пути».

Иной раз может возникнуть впечатление, что современные художники горделиво мнят себя какими-то новыми демиургами, высшими существами, творящими новые миры. Мы приведем высказывания Сезанна и Клее, из которых видно, что в мироощущении многих современных художников, а именно самых выдающихся, полностью отсутствует элемент антропоцентризма, присущий рационалистам и материалистам.

Сезанн говорит, что художник есть всего лишь чувствительный регистрирующий аппарат, он имеет лишь впечатление от красок природы и знает художественную логику их организации. Но субъективное «я» художника, его субъективное сознание должно полностью выключаться из процесса реализации. Сезанн говорит, что во время творческого акта он ни о чем не думает, все на полотне организуется и распределяется само собой, он не думает о красках, это *само бытие* мыслит краски.

Из высказываний современных художников, поэтов, композиторов мы знаем, что оперирование, конструирование элементарными художественными средствами постепенно вызывает включение в этот процесс действия иррациональных сил души, некой иррациональной сферы. Пауль Клее пишет, что оперирование абстрактными элементами есть вопрос формальный и само по себе еще не есть высшая область искусства. Клее дальше продолжает:

«В высшей же области искусства начинается таинственное, и интеллект жалко затухает. Моя рука есть полностью орудие некой дальней сферы. Моя голова тоже не есть то, что тут функционирует, но что-то другое, нечто более высокое, далекое, где-то».

Василий Кандинский писал:

«Искусство приобретает все возрастающую тенденцию создавать «абсолютные» произведения, т. е. совершенно объективные, самостоятельные существа. Эти произведения стоят ближе к искусству, живущему *in abstracto*, т. е. чисто- и вечно-художественному».

Пустым формализмом такой высоты не достигнешь, но лишь при той духовной установке, которая была присуща, например, Сезанну или Клее.

Современные искусства показывают, что их язык не столько язык выражения, сколько язык творения, не столь язык эстетический, сколько язык онтологический.

Об абстрактной живописи мы скажем на основании высказываний Василия Кандинского, одного из столпов современной живописи. Переход в абстрактную живопись произошел у Кандинского на основании его двойного опыта: с одной стороны, предметная природа есть абсолютно непроницаемая тайна. То, что мы в ней видим, есть кажущаяся иллюзия, то, что мы о ней знаем, суть целесообразные представления нашей практической жизни. При изображении картин такого видения и представления сама природа вообще не затрагивается. С другой же стороны, абстрактные краски и формы как таковые вызывают мощные душевные резонансы, такие же таинственные, как и сокровенная сущность природы. При помощи одного элемента — реалистического, изображать другой — скрытый, безнадежное дело. Это даст лишь зеркальное отображение мира явлений, мира нашей повседневной, практической жизни, в котором вещи имеют рациональные связи. То, что мы в этом иллюзорном мире явлений называем красотой или выражением, Кандинский воспринимает лишь как приятность чувств или возбуждение банального «настроения». Наоборот, из абстрактных элементов исходят мощные действия на душевные глубины, внутреннее вибрирование, мощные резонансы, звучания. Совершенно иррациональный характер абстрактных элементов является предпосылкой этого действия. Действие элементарных красок вызывает душевное потрясение, потому что в виде эха приводятся в звучание и все другие душевные области. Сильно чувствующие люди как хорошо наигранные скрипки, которые при прикосновении смычка начинают виб-

ризовать всеми своими частями и «фибрами», т. е. всем своим существом. Чувство зрения находится в связи со всеми остальными чувствами. Некоторые краски выглядят колючими, другие, наоборот, выглядят гладкими, шелковыми, существуют холодные и теплые краски, мягкие и твердые, «ароматные», звучащие. Краски, говорит Кандинский, есть средство прямого воздействия на душу. Краска есть клавиш. Глаз есть молоточек. Душа есть рояль со многими струнами. Художник есть рука, которая при помощи того или иного клавиша приводит душу в состояние вибрации.

То же самое Кандинский говорит и о формах. Если форма совершенно абстрактна и похожа на геометрическую, она имеет свое внутреннее звучание, есть духовное существо с особыми свойствами. Каждая форма чувствительна как облачко дыма. Самое незаметное передвижение ее частей существенно ее изменяет. Некоторые краски усиливают свои качества в соединении с другими. Острые краски звучат сильнее в острой форме (например, желтая в треугольнике), краски, склонные к углублению, усиливаются в своем действии в круглой форме (например, синяя в окружности). Так как число красок и форм бесконечно, то бесконечны и их комбинации и действия.

Звучание красок и форм дифференцируется соответственно их положению на плоскости полотна. Собственное звучание элементов сильно перекрывается или специализируется при изображении предметов: на человеческом лице становится знаком душевного возбуждения, на небе оно специализируется в настроение вечерней зари. Но неспецифицированное, абстрактное, «чистое» звучание вызывает более тонкое, сверхчувственное возбуждение, созерцатель получает нередко «космическое» впечатление.

Кандинский пишет:

«Абстрактная живопись оставляет «кожу» природы, но не ее законы, космические законы...

...Абстрактному художнику дает побуждение не отдельная часть природы, но природа в ее целом, ее разнообразнейшие проявления, которые в художнике суммируются и ведут к художественному произведению. Этот синтетический базис ищет для себя наиболее подходящую форму выражения, которая есть «беспредметная», абстрактная форма. Абстрактная живопись — шире, свободней и богаче в содержании, чем «предметная»... Чистое звучание выступает на первый план. Душа приходит в состояние беспредметного вибрирования, более сложного, «сверхчувственного»...

...Переживание «тайной души» всех вещей я называю «внутренним взором». Этот взор проникает через твердую оболочку, через внешнюю форму к внутреннему предметов. Таким путем художник воспринимает всеми своими чувствами внутреннее «пульсирование» вещей. И это восприятие становится у художника зародышем его произведений. Подсознательно. Так содрогается «мертвая» материя. И еще больше: внутренние «голоса» отдельных вещей звучат не изолированно, но все вместе — «музыка сфер»... Мир звучит. Он есть космос духовно действующих существ... Мертвая материя есть живой дух.

Для Кандинского весь мир звучит, также и предметный, в особенности, если предметы «никчемные», лишены смысла и красоты, т. е. «абстрактные». Кандинский пишет:

«Все «мертвое» содрогается. Не только воспетые звезды, луна, леса, цветы, но также на улице из лужи смотрящая белая пуговица брюк... Самое важное не вопрос формы — предметный или абстрактный, но содержание — дух, внутреннее звучание».

Кандинский предсказал появление в модернистической живописи второго полюса — предметной живописи, наряду с первым, абстрактным полюсом. Предсказания Кандинского осуществились, об этой предметной живописи мы кратко уже говорили выше. Кандинский пишет:

«Современное искусство воплощает духовное, созревшее для своего откровения. Формы воплощения располагаются между двумя полюсами: 1. большая абстракция, 2. большая реалистика. Оба эти полюса открывают пути, ведущие к одной цели». Т.е. к воплощению духовного. И далее: «Большая реалистика есть стремление изгнать из картины внешне-художественное и воплотить содержание произведения (внутреннее звучание, дух) при помощи простого, «нехудожественного» воспроизведения, простого твердого предмета. Именно при таком сведении «художественного» к минимуму душа предмета звучит наиболее сильно, потому что внешняя приятная красота уже не может отвлекать. Эта обычная красота дает ленивому физическому глазу обычные удовольствия. Действие картины задерживается в чувственной области. Так что эта красота часто создает силу, ведущую не к духу, но уводящую от духа. Мы все дальше продвигаемся на пути возможности слышать весь мир таким, как он есть, без всякой прикрашивающей интерпретации».

Эти слова Кандинского выражают новую эстетическую установку и могут быть отнесены вообще ко всем современным искусствам.

Также практический смысл вещей и явлений исключает

абстрактный смысл и мешает человеку смотреть на вещи глазами ребенка, чтобы их видеть как таковые. Кандинский пишет:

«Самое простое *движение* человека, практическое значение которого неизвестно, само по себе производит впечатление значительного, таинственного, торжественного. Как чистое звучание, оно действует столь драматически и захватывающе, что перед ним останавливаешься как перед видением, пока не узнаешь практического значения движения, и все очарование исчезло. Практический смысл исключает абстрактный. Художник, похожий во многом на ребенка, может легче проникнуть ко внутреннему звучанию вещей... Здесь корень большой реалистики. Совершенно и исключительно просто данная внешняя оболочка предмета есть уже отделение предмета от практически-целесообразного и способствует звучанию внутреннего».

Для Кандинского весь мир звучит, он есть одухотворенный космос, «материя есть живой дух».

В современных искусствах много говорится о сочетании в творчестве конструктивного интеллекта с интуицией. В творчестве Кандинского, уходящем к тому же в мистические глубины, такое сочетание полностью осуществляется. У него счастливый брак интеллектуального и мистического. К творчеству Кандинского применимо и знаменитое выражение композитора Стравинского, который назвал современные искусства «спекулятивным феноменом», выражение, с тех пор повторяемое представителями и критиками современных искусств. Это есть интеллектуальное конструирование, оперирование автономными элементарными художественными средствами (краски, формы, язык, тона). Оперирование ими пробуждает глубинные иррациональные силы, действующие совместно с интеллектом, и художник предоставляет себя инициативе элементарных средств. Это есть своего рода «конструктивная медитация». О роли интеллекта и интуиции в творческом процессе Кандинский говорил следующее:

«Теории» никогда не могли заменить интуицию, ибо знание как таковое бесплодно, оно должно ограничиваться постановкой материала и методов. Но интуиция тоже не может достигнуть своей цели без средств, и одна была бы тоже бесплодной. Я никогда не мог придумывать формы, такие формы вызывают во мне отвращение. Все мои формы приходили ко мне «сами собой»... Я думаю, что этот душевный процесс оплодотворения совершенно соответствует физическому рождению человека. Возможно, что совершенно так же возникают миры. Творение картины есть громовое столкновение различных миров, которые в борьбе и из борьбы между собой предназначены создать новый мир. Каждое произведение технически воз-

никает, как возникает космос, через катастрофы, которые из хаотического рева инструментов под конец создают симфонию, называемую музыкой сфер. Творение картины есть творение мира».

В очень интересной книге «Психологическая мудрость библии» известный глубинный психолог школы Юнга В. Кречмер показывает, как в «Книге бытия» Моисея в повествовании о творении мира, в «диалектике» творения мира («В начале сотворил Бог небо и землю»... и т. д.) отражены глубинные «диалектические» процессы, происходившие в душе Моисея параллельно писанию книги. В высказываниях о своем творчестве многие современные художники тоже говорят о «диалектике» творчества. Кандинский пишет:

«То, что «горькому» удару противопоставляешь нечто «сладкое», в «положительное» вкрапливаешь нечто «отрицательное», происходит подсознательно. Иногда подо льдом течет кипящая вода — природа работает противоположностями»...

В своей книге «О духовном в искусстве» Кандинский говорит о связи современного художественного творчества с духовной атмосферой нашего времени:

«Наше время полно вопросов, предчувствий, толкований, противоречий, поэтому гармонизация на основе одного общего тона меньше всего подходяща именно для нашего времени».

Вот наша атмосфера:

«Борьба тонов, утраченное равновесие, рушащиеся «принципы», внезапный барабанный бой, великие вопросы, видимо, бесцельные стремления, видимо, беспорядочный натиск и тоска, разбитые оковы и цепи, соединяющие воедино *противоположности и противоречия* — такова наша гармония.

Основанная на этой гармонии композиция является аккордом красочных и рисуночных форм, которые самостоятельно существуют как таковые, которые вызываются внутренней необходимостью и составляют в возникшей этим путем общей жизни целое, называемое картиной.

...На том же принципе антилогии рядом ставятся в настоящее время краски, долгое время считавшиеся дисгармоничными, например, красная и синяя. Как раз вследствие их большого *духовного контраста* их выбирают сегодня как одну из сильнейшим образом действующих гармоний».

Большой духовный контраст вышеназванных красок заключается в том, что красная краска ощущается как земная, материальная, а синяя как небесная, духовная. Кандинский указывает, что в старинных картинах «примитивах» было излюбленным сочетание этих двух красок. Так, например, часто изображалась

Богоматерь в красном хитоне с наброшенным на плечи синим плащом. Этим художники хотели указать на *небесную* благодать, ниспосланную на *земного* человека и облекающую *человечество* *небесным* покровом. Далее Кандинский пишет:

«Из определения нашей гармонии логически вытекает, что именно сегодня внутренняя необходимость нуждается в бесконечно большом арсенале возможностей выражения».

В более поздний период своего творчества Кандинский пишет:

«Сегодня мое желание — «шире! шире! шире!» Полифония, как говорит музыкант... Внутреннее единение через внешнее расхождение, связывание через развязывание и разрывы. В беспокойстве покой, в покое беспокойство. Этот процесс в картине должен происходить не на плоскости полотна, но «где-то», в «иллюзорном» пространстве. Из «неправды» (абстракция!) должна говорить правда, самая здоровая правда, называемая «я есть».

Василий Кандинский, которого в Италии называли «современным Джотто» (художник Джотто был предвестником эпохи Возрождения), является одним из крупнейших представителей современной духовной революции. Недаром его знаменитая книга называется «О духовном в искусстве».

Об эстетике современных искусств нужно сказать еще следующее. Понятие об эстетике, доставшееся нам в наследие от античной эпохи и связанное с идеей о человеке как мере всех вещей больше не вмещается в рамки модернизма. Писатель Торнтон Уальдер сказал, что в наше время центр тяжести переместился из человеческого в планетарное. Вместо слова «планетарное», может быть, лучше сказать «космическое». В последовательном процессе очищения от всего лишнего, т. е. внешнего и поверхностного, современные искусства стали более абстрактными и в то же время зачастую «космическими». Кто-то сказал: «Старая крыша мира разобрана, и человек смотрит прямо в космос». Но этот современный космос лишен наглядности. Язык современных искусств, как мы также увидим на примере поэзии, есть язык интенсивности, язык творения, язык «космический».

В картинах Пауля Клее появляются иногда и разные предметные существа, и растения, которые своей формой не похожи на земные, но с точки зрения космической тотальности и целостности они земным существам не противоречат. Эти существа и растения, если и не существуют, то могли бы существовать. Этого тихого и скромного человека, друга Кандинского — Пауля Клее друзья в шутку называли «Господом Богом».

В Библии говорится: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот хорошо весьма.» То есть и носорог, и бегемот, и спрут, и все прочие «некрасивости» хороши для Бога, с космической точки зрения. В «Книге Иова» Бог хвалит в разговоре с Иовом красоту тела и мышц «левиафана» и «бегемота».

Вообще содержания модернистической живописи нужно понимать с точки зрения внутренней цельности, из-за необходимости которой происходят, как, например, в картинах Матисса или Сезанна, деформация отдельных деталей. Художник Андре Лот, говоря о творчестве Сезанна, сказал:

«Слово красота здесь нужно зачеркнуть. Картина становится эквивалентом священной мистерии. Невозможно не соучаствовать в этом грандиозном предприятии».

Кандинский говорит, что

«Та картина хороша, которая живет внутренне полной жизнью, в которой ничего не может быть изменено без того, чтобы не нарушилась эта внутренняя жизнь, независимо от того, противоречат ли ее формы анатомии, ботанике или другой науке. Художник не только вправе, но обязан обращаться с формами так, как это необходимо для его целей. Во всей жизни, а значит, и в искусстве, важна безупречная цель! И необходимым является не анатомия, или что-либо подобное, не принципиальное пренебрежение этими науками, а только полная неограниченная свобода художника в выборе своих средств. Необходимость эта есть право на неограниченную свободу, которая тотчас же становится преступлением, если она не основывается на этой внутренней необходимости, называемой честностью. Для искусства это право является внутренним моральным планом. И это принцип не только искусства, это принцип жизни. Этот принцип — величайший меч — оружие подлинного сверхчеловека (творческой личности в высшем смысле. — А. П.) против мещанства.

То, что современное искусство не репродуцирует образ человека, еще не означает, что оно отвернулось от человека. Наоборот, благодаря интенсификации своих средств, обладающих большой эвокативной силой, т. е. силой, способной вызывать различные душевные вибрации, современная живопись нашла возможность непосредственным образом и с сейсмографической точностью выражать тончайшие движения человеческой души. Все это есть область психологии. Но, кроме того, современные картины содержат в себе и ту напряженность, в которой художник живет в его связи с миром в целом, с космосом. Художник улавливает ритмы, движения, энергии, управляющие космосом, чудесную алхимию, связывающую между собой пространство и время,

материю и энергию. Всему этому он предоставляет проходить через себя, творчески перерабатывает и дает ответные картины на новом языке живописи. И эти картины нередко обнаруживают неожиданное родство с современными великими научными открытиями.

Итак, Андре Лот сказал, что «невозможно не соучаствовать в этом грандиозном предприятии». Но и от созерцателя современной картины, для понимания ее, требуется творческое соучастие, сотворчество. Пауль Клее сказал, что к картине принадлежит также и стул, указывая на необходимость творческой медитации перед картиной. Другой же художник сказал, что созерцатель картины должен иметь такое чувство, что эту картину написал он сам. Язык современной живописи есть не столько язык внешней красоты, сколько язык интенсивности, глубины, познания, творчества. И тут следует сказать о гуманной и социальной функции модернистического искусства. Картина должна затронуть в зрителе нечто чудесное, что в нем еще не было пробуждено. Творцы и знатоки современных искусств, представители новой культуры не устают повторять в течение уже нескольких десятилетий, что нельзя предъявлять к современным искусствам требования из традиционных гуманных, социальных или религиозных областей. Эти старые идеи и понятия большей частью утратили эвокативную силу, силу непосредственно и интенсивно затрагивать глубинные слои души, пробуждать, оживлять и вызывать ее глубинные иррациональные энергии. Но искусство управляет этими скрытыми зонами человеческой души. Эти зоны оказывают воздействие на творческое ядро в человеке и через него могут действовать на гуманное и социальное в актах преодоления жизненных и духовных проблем.

Кроме того, новые искусства способствуют созданию новой духовной атмосферы. Кандинский пишет:

«Истинное произведение искусства возникает таинственным, мистическим образом «из художника». Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, субъектом, самостоятельным, духовно дышащим существом. И как каждое существо, оно обладает дальнейшими созидаящими, активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании *духовной атмосферы*» (подчеркнуто здесь нами. — А. П.).

Все это смутно подозревали и подозревают диктаторы тоталитарных государств — коммунистических и фашистских. Поэтому они так боятся этого нового искусства и запрещают его, стараются насильственно его удушить. Но дух дышит, где хочет, в особенности молодой дух новых искусств, новой культуры. Ход истории вспять не повернешь.

Известный немецкий искусствовед Вернер Хафтманн пишет, что современное искусство как явление в целом живет двумя основными нравственными импульсами: свободой и любовью. Этот факт Хафтманн считает решающим для будущего благополучия человеческого рода. Существование импульса свободы достаточно доказано представителями современного искусства. В нацистской Германии, например, их свобода была куплена долголетними и бесчеловечными преследованиями, но свобода же помогла им эти преследования выдержать и не сбиться с пути. Когда фашистский кошмар миновал, новое искусство воспрянуло во всей широте и с совершенно новым развитием, происшедшим в подполье. Сегодня положение таково, продолжает Хафтманн, что зоны человеческой свободы и несвободы, которые политика отделяет проволочными заграждениями, наиболее ярко выражены отношением к творческой свободе, к новому искусству. Но свобода, говорит Хафтманн, морально полезна, если она есть «свобода для», если она чему-то служит. Один художник сказал, что каждое истинное произведение искусства прибавляет миру в целом гран любви. Свобода к самореализации и определению нашего специфического современного бытия в мире была принесена новыми искусствами и вызвала в современном человечестве неожиданные созвучия, которые в разделенном ненавистью мире вдруг породили проблеск возможности братского единства. Хафтманн напоминает, что Уолт Уитмен обратился в одном из своих лучших стихотворений к неизвестным братьям в мире. Мы укажем, что так же поступил в одном стихотворении Иван Харабаров, обратившись к неизвестным друзьям для того, чтобы вместе с ними слышать голос мироздания, чтобы обожгло их времени дыхание. Кстати, художник Пауль Клее сказал: «Я должен прежде почувствовать точку опоры в центре космоса, в сердце мироздания, только после этого я начинаю ощущать братскую любовь к ближнему, любовь к людям и вещам».

Голоса современных искусств, звучавшие вначале столь потерянно и одиноко, стали получать повсюду в мире созвучные отклики. Эти внутренние созвучия возникли не в культуре одной политической системы. Они были духовно несомы человеческими восклицаниями «Эврика!», восклицаниями новых открытий, вызывавшими совсем в других частях мира созвучные ответные восклицания. Из этих быстро сгущающихся возгласов и ответов — «слышим! слышим!» — возникла общая творческая атмосфера. Это — как бы беззвучное восстание, говорит Хафтманн, про-

исходящее совершенно независимо от границ политических механизмов и не пользующееся насилием.

Но какая грандиозная духовная сила исторической необходимости находится в его распоряжении! — добавим мы от себя.

Абстрактная живопись доминирует в настоящее время над всеми другими видами современной живописи и, по словам Вернера Хафтманна, определяет лицо XX века. На одной международной выставке современной живописи «documenta II» в Касселе (Германия) были также представлены работы афро-азиатских художников-модернистов. Вернер Хафтманн на открытии выставки сказал, что эта выставка есть как бы модель будущей универсальной культуры.

В своей книге «Живопись в XX веке» Вернер Хафтманн пишет о том, какое большое влияние на Кандинского оказала русская народная живопись с ее пестрой абстрактной орнаментикой (особенно в Вологодской области), а также абстрактный и мистический элемент православных икон. Оба эти элемента всегда были присущи русскому народному изобразительному искусству, отражая мистический элемент народной души. В связи с этим Вернер Хафтманн пишет в своей книге:

«Отсюда и была у Кандинского та свобода, с которой он отдался от видимого, предметного. Совсем не случайно, что именно в России рефлекс западных модернистов — символизм, фовизм, кубизм, футуризм — были сразу же перетолкованы в абстрактное... И до 1914 года Москва уже была оплотом абстрактной живописи».

Тут, забегаая вперед, интересно сделать сравнение с тем, что в Испании модернистическая поэзия тесно связана с народной поэзией, с народными романсами, цыганскими песнями Андалузии и т. д. В Испании с самого начала XX века наблюдается такое бурное и богатое развитие модернистической поэзии, что говорят о «втором золотом веке» испанской литературы.

Поэт модернист Аполлинер сказал, что современные художники и поэты в своих творческих медитациях определяют действительность, которая иначе бы погрузилась в хаос.

Кандинский пишет:

«Каждая эпоха стремится выразить свою жизнь в искусстве. Также и художник стремится выразить себя и выбирает душевно ему родственные формы. Оба эти элемента (эпоха и художник) — суть субъективной природы. Чисто- и вечно-художественное есть, напротив, объективный элемент, который становится понятным при помощи субъективного. Неизбежная воля объективного к своему выражению есть сила, которую я

называю внутренней необходимостью. Развитие искусств есть прогрессивное выражение вечно-объективного во временно-субъективном... Сегодня признанная форма есть завоевание духовной необходимости... но она сегодня есть уже крайняя необходимость... Искусства приобретают все возрастающую тенденцию создавать «абсолютные» произведения, т. е. совершенно объективные, самостоятельные существа. Эти произведения стоят ближе к живущему in abstracto искусству, к чисто- и вечно-художественному.

«...Каждой эпохе, — пишет дальше Кандинский, — отведена ей присущая мера свободы, и через границу этой свободы не может перепрыгнуть даже гениальнейшая сила. Но эта мера всегда должна быть исчерпана, и она всегда исчерпывается. Как бы этому ни противилась упрямая колымага».

Если же эта реакционная колымага истории сама прибегает к жандармским методам насилия, то тем хуже всегда бывает для нее самой.

РОССИЙСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

14. Ни одна из этих надежд Ленина не осуществилась. Сталин, сменивший Ленина в роли руководителя партии, все более обнаруживал другой стиль руководства. Его социальному характеру была свойственна не открытая демократичность и самоотверженная целеустремленность, а «вождизм», ультрареволюционность и властолюбие. Но он обладал, вместе с тем, и государственным умом и способностью верно оценить международную обстановку. И года через три после смерти Ленина он начал поворачивать партию на разработку планов быстрого строительства тяжелой промышленности.

В плане ГОЭЛРО, созданном по указанию и при полном одобрении Ленина, основной упор делался на «электрификацию всей страны». Предполагалось за 10 лет увеличить обрабатывающую промышленность на 80⁰/о и добывающую на 100⁰/о. О создании целых отраслей тяжелой промышленности, которых не было в царской России, тогда, видимо, нечего было и думать. Сталинское руководство быстро перешло к планированию пятилеток, первая из которых начала осуществляться с 1929 г. И благодаря этому Россия стала быстро превращаться в индустриальную державу.

Хотя это и требовало огромных затрат человеческих сил и преодоления материальных и организационных трудностей, хотя в дальнейшем, особенно со второй пятилетки, новая тяжелая промышленность строилась в значительной мере по существу рабским трудом сотен и тысяч или даже миллионов людей, оклеветанных, невинно арестованных и сосланных в концлагеря, — все же осуществление сталинских пятилеток имело решающее общенационально прогрессивное значение. Если бы у Советского государства не было развитой тяжелой и, прежде всего, оборонной промышленности, позволившей довольно скоро дать армии в не-

обходимом количестве орудия, танки и самолеты, Россию не спасли бы ни просторы ее территории, ни морозы, ни осознание массами смертельной национальной опасности. Тогда бы Красная Армия была бы добита, немцы дошли бы до Урала, все демократические силы были бы уничтожены, половина населения погибла бы в кровавых расправах. Тогда Россия снова стала бы полуколонией в неизмеримо худшем смысле, чем при Николае II.

15. Мероприятия сталинского руководства и, в основном, развитие страны по «русскому пути перехода к социализму» привели, естественно, к резкому усилению внутрипартийных разногласий и далее — к расколу правящей партии. Многие члены партии во главе с Троцким вообще перестали верить в возможность победы на этом пути социального развития. Одни раньше, другие позже, но все они возвращались к ортодоксальным представлениям марксизма о путях перехода к социализму через зрелый, оформленный капитализм, продолжали вслед за Лениным 1917-1920 годов ориентироваться на пролетарские революции в странах «классического» капитализма и проникались в связи с этим капитулянтскими настроениями. В этом и заключалась суть так называемых «левых оппозиций» — сначала троцкистской, потом — зиновьевской. 75 сторонников этой оппозиции были исключены XV съездом (1927 г.) из партии, но продолжали вести борьбу против сталинского руководства.

Иные идейные тенденции выражали «правые» оппозиционеры во главе с Бухариным, Рыковым, Томским. Они, видимо, старались остаться верными ленинскому плану кооперирования крестьянства через НЭП, через торговлю, через культурную революцию в деревне. Такой смысл имел, несомненно, лозунг Бухарина о «врастании кулака в социализм» и рыковские «двухлетки», предполагающие преимущественное развитие легкой промышленности, в основном, для удовлетворения запросов деревни, особенно зажиточных ее слоев. Правые оппозиционеры были также исключены из партии (1929 г.) и также продолжали борьбу против «генеральной линии» ЦК ВКП (б).

Трудно сказать сейчас, в какой мере эти оппозиции переходили к подпольным формам борьбы с руководством партии, в какой мере эта борьба могла быть опасна для существования нового государства. По-видимому, эта опасность существовала, что и вызвало ожесточенность расправы сталинского руководства с руководителями групп обеих оппозиций. Однако самые формы такой расправы представляли собой очень опасное злоупотребление.

Борьба должна была вестись, прежде всего, путем открытых и широких разъяснений всему обществу сущности внутрипартийных разногласий, закономерности принятия генеральной линии партии для упрочнения и развития революционных завоеваний, путем убеждения отколовшихся групп и теоретического опровержения их взглядов и требований. Так сделал бы Ленин, останься он в живых до середины 30-х годов.

Вместо этого Сталин, обуреваемый властолюбием, жестокостью и иезуитством своего характера, пошел по пути огульных репрессий, подтасованных и ложных обвинений, судебных процессов, основанных на ложных, вымученных самообвинениях подсудимых, и наконец по пути казней своих товарищей, старых, заслуженных революционеров.

Процессы 1935 и 1936 гг. были началом истреблений лучших кадров ленинской партии большевиков. Этот путь репрессий лишал сталинское руководство нравственной высоты перед лицом всей общественности страны. На этом пути возникла очень опасная и очень дурная черта общественной жизни нашей страны, не изжитая и после смерти Сталина: стремление создать ореол власти в глазах населения посредством обмана, замалчивания недостатков, преувеличения достижений. На этой почве и возник «культ личности Сталина», люмпен-пролетарский по своему социальному генезису; этот стиль обернулся стилем помпезности, дутого величия, лаконичных пышных изречений и властных жестов, «стилем» всякого рода регалий, лакированных портретов и скульптур. Ленинский пролетарский стиль жизни и руководства был отменен, хотя Сталин и его приспешники внешне подделывались под его простоту и демократизм.

В пылу расправы с оппозиционерами Сталин сумел разделиться и с последними представителями ленинского стиля руководства: с Кировым, Куйбышевым, Орджоникидзе и многими другими. На XVII съезде партии и вне его они сделали негласные попытки снять Сталина с поста генерального секретаря ВКП (б). Но эти попытки привели их к поражению. Обозленный ими, считая себя, и не без основания, инициатором и вдохновителем «генеральной линии», опираясь на крепко сложившийся к тому времени партийно-бюрократический аппарат и, прежде всего, аппарат НКВД, Сталин обрушил на своих противников гласные и закулисные репрессии, а некоторых толкнул на самоубийство. В дальнейшем же, даже самых близких своих помощников и соратников — Молотова, Ворошилова, Жданова, Калинина и др. он с помощью Берия окружил негласным шпионским надзором.

С середины 30-х годов коммунистическая партия в старом, ленинском смысле слова перестала существовать. Она превратилась в партийный аппарат, беспрекословно руководимый волей высшей власти. Надолго вслед за этим перестали собираться и съезды партии: между XVIII и XIX съездами партии прошло почти 14 лет.

16. Эти роковые изменения в составе, организации и стиле руководства ВКП (б) имели своей основной причиной не личные свойства характера Иосифа Сталина и даже не социальный генезис его стиля. Ближайшая причина заключалась здесь в том, что, истребляя кадры старого ленинского руководства, Сталин имел полную возможность не апеллировать при этом к общественному мнению, а опираться на бюрократический аппарат партии и государства, уже давно представлявший собой по всей стране реальную и основную политическую силу.

Дело было в том, что предложения Ленина, выдвинутые во время дискуссии о профсоюзах, а до этого зафиксированные в Уставе РКП (б), на который Ленин и ссылался, не получили своего применения и развития. Для того, чтобы через 15-20 лет профсоюзы могли придти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством, партия должна была исподволь и постепенно готовить их к этому. Партия должна была активно бороться с проявлениями бюрократизма в государственных учреждениях — с «коммунистическим чванством» бюрократов, с самодурством сановников, с бумажной волокитой и т. д. Вместо этого партия сама пошла по пути бюрократизма и постепенно превратилась в разветвленную бюрократическую иерархию с началом субординации и подчинения — всесоюзный ЦК, ЦК республик, обкомы, крайкомы, райкомы, парткомы отдельных учреждений. И в этой иерархии скоро стали процветать сановничество, чиновничество, угодничество перед начальством и т. п. Естественно, что и профсоюзы, теоретически призванные воспитывать и выдвигать партийных администраторов, сами не избежали той же участи. И они постепенно превратились в учреждения бюрократического типа. Они совершенно отказались от «защиты материальных и духовных интересов пролетариата от государственной власти». Они стали, наоборот, руководствоваться интересами государства, а трудящихся стали обслуживать только в их бытовых нуждах на собранные с них членские взносы, да и то охватывали при этом преимущественно высокопоставленных трудящихся. И вопрос о роли профсоюзов в управлении хозяй-

ством всей страны на партийных съездах больше не ставился.

Таким образом, с 30-х гг. Сталин все больше представлял в своем лице не политическую партию пролетариата, а власть партийно-бюрократических верхов над пролетариатом и другими слоями трудящихся. Это и позволило ему так быстро и решительно разделаться со всеми, неудобными ему.

17. Что же представляют собою партийно-бюрократические верхи, какое место занимают они в структуре советского общества, почему они должны были оказаться в привилегированном положении, и как они управляют государством и населением? Полагалось и до сих пор полагается считать, что после «ликвидации кулачества как класса» среди населения России существует в основном три класса, не находящихся друг с другом в антагонистических отношениях: рабочие, крестьяне-колхозники и государственные служащие. На самом деле служащие никогда не представляли собою единый класс. Есть рядовые служащие, беспартийные и партийные, не облеченные властью, ничем и никем не управляющие, не могущие издавать приказов и постановлений, имеющих обязательную юридическую силу. И есть служащие, стоящие у власти, управляющие предприятиями, учреждениями, целыми областями хозяйства, политики, культуры, быта или наконец всем государством в его внешних и внутренних отношениях и всей партией в ее руководящей и организующей деятельности, люди, могущие издавать приказы, указы и постановления, обладающие обязательной юридической силой. Это и есть господствующий класс социалистического общества, руководящий всей его жизнью, обладающий всей полнотой власти. Решающую силу власти имеют при этом партийно-бюрократические верхи, которым и подчиняются все «рычаги» партийно-правительственного аппарата. Видимо, к началу 30-х гг. в среде господствующего класса была осознана необходимость создать некоторую негласную, по сути дела, юридическую отграниченность правящих партийно-государственных верхов от всех прочих слоев населения, придающую этим верхам внешнюю замкнутость и внутреннюю устойчивость, лишаящую их личный состав случайности, текучести, вхождения в него непроверенных и ненадежных элементов. Такая отграниченность господствующего слоя получила свое выражение в понятии «номенклатурности», в создании персональных списков особо выделенных, проверенных, облеченных высшим партийным доверием лиц, которым можно поручать ответственную партийную и государственную работу. Номенклатурные работники бы-

ли поставлены тем самым в привилегированное положение по отношению ко всей массе трудящегося населения. Этим партийно-бюрократические верхи освободили себя от общественного мнения трудящихся, привыкли пренебрегать им. Их деятельность стала протекать при относительной, а иногда и полной общественной, а нередко и внутрипартийной бесконтрольности.

Естественно, что при этом правящие верхи стремились подкрепить свою негласно-юридическую привилегированность привилегированностью материальной: негласно-законным использованием различными имущественными благами, преимущественно ведомственного порядка. Сюда относятся: высокая заработная плата, дополнительные денежные пакеты, продовольственные пайки, закрытые столовые, большие, часто роскошно обставленные квартиры, а также дачи с садами и цветниками, теннисными кортами и бассейнами, персональные машины с шоферами, санатории высшего уровня и т. д.

18. В чем же заключались более глубокие причины того, что русские трудящиеся, увлеченные коммунистической партией на особый, не предусмотренный марксизмом путь перехода к социализму, так скоро в годы, последовавшие за смертью Ленина, оказались под безраздельной властью партийно-бюрократических верхов, что централизованно-демократический принцип организации общества, предусмотренный в начале в Уставе РКП(б), не получил своего развития? Почему централизм партийного руководства поглотил социалистическую демократию, сохранив только название для проформы?

Причины коренились именно в «русском пути перехода к социализму», вытекающем из революционной ситуации 1917 года. Огромная экономически отсталая страна, по подавляющему большинству населения крестьянская, мелкобуржуазная, сбросившая своих старых правителей из-за полного вырождения и бессилия и дошедшая до состояния хозяйственной разрухи, встала в своем дальнейшем развитии перед невероятными трудностями. Для того, чтобы быстро восстановить и развить свою экономику, чтобы выстоять в одиночку перед очень сильным и опасным капиталистическим окружением, она нуждалась в гигантских организационных усилиях и в огромных материальных ресурсах.

Короткие сроки экономического развития, которые должны были спасти нацию от гибели в чрезвычайно обостренных международных отношениях, требовали такой централизованной организации всего общества, которая совершенно исключала как дли-

тельный процесс воспитания социалистической демократии, так и постепенное «врастание кулака в социализм». В этом отношении Сталин был прав, ревизовав ленинские и бухаринские планы и быстро отменив НЭП. Но именно благодаря этому пошло быстрым ходом создание партийно-правительственной иерархии, очень строгой и жестокой во всех своих мероприятиях.

Однако это была лишь необходимая система рычагов централизованного административного управления, а необходимо было не только управлять, но и строить хозяйство страны заново... Восстановление промышленности, содержание армии, аппарата и т. д. стоили очень больших средств. Но еще больших средств требовала перестройка сельского хозяйства, создание большого количества новых отраслей промышленности, новых научных и культурных учреждений. За невозможностью получить займы извне, эти средства надо было выжимать из труда населения, и не только из внутренних займов, а прежде всего путем прямой эксплуатации труда рабочих, крестьян, трудовых служащих. Если создание капиталистической формации требовало «первоначального накопления», то создание социализма в отсталой разоренной стране тоже требовало соответствующего периода. В промышленности при этом прямо действовал закон присвоения государством прибавочной стоимости труда... Централизованное партийно-бюрократическое государство, реализуя стоимость продуктов в своей же, государственной торговле, присваивает себе прибавочную стоимость, созданную трудом рабочих, и употребляет ее для своих нужд, в основном, нужд строительства и развития обобществленного народного хозяйства, но также и для увеличения привилегий партийно-бюрократических верхов.

При этом государственная прибавочная стоимость может быть реализована двумя путями: а) путем регулирования заработной платы рабочих и служащих; б) путем регулирования цен на продукты в государственных магазинах. То и другое реализуется для возможно большей пользы государства и господствующей прослойки и с относительно терпимым ущербом для рабочих и служащих. Цены в государственной торговле устанавливаются максимально реализуемые, а иногда и нереализуемо высокие, в несколько, а иногда и во много раз превышающие реальные затраты государства на производство этих продуктов. Трудящиеся же получают возможно более низкую плату, которая, при существующих ценах на продукты, едва позволяет сводить концы с концами. Это принижает трудящихся морально, нередко толкает их на поиски дополнительных средств к существованию: на совместительство

или даже на нарушение законности. По контрасту с этой необеспеченностью или недостаточной обеспеченностью широчайших масс существуют слишком высокооплачиваемые слои населения — высшая партийная или государственная бюрократия, в том числе военные, а также преуспевающая часть деятелей науки и искусства.

В сельском хозяйстве дело обстоит еще хуже. Но по существу сельскохозяйственные артели (колхозы) должны были бы быть полноправными хозяевами своих производительных сил — земли, инвентаря, тягловой силы — а отсюда и всех продуктов своего труда, которые они должны были бы продавать государству по свободной договоренности, по взаимовыгодным ценам. И они должны были бы иметь свободное самоуправление, основанное на выборах руководителей и организаторов.

На самом деле, с первых шагов организации колхозов сталинское руководство поставило их в условия коллективной подрозверстки и принудительного управления сверху. Колхозы вели севообороты по планам, «спущенным» земотделами исполкомов, управлялись председателями, назначенными райкомами, и были обложены натуральными поставками в количествах, нужных государству, по ценам, выгодным ему. Нередко количество натурпоставок было так велико, что превышало возможности колхозников, и поэтому оплата труда колхозников в виде стоимости «трудодней» была крайне незначительна, иногда ничтожна. К тому же, со второй половины 30-х годов приусадебные участки колхозников были сильно урезаны, а права разводить собственный скот и птицу сильно сокращены. Косьба травы где бы то ни было для личных нужд запрещалась. Естественно, что в таких условиях население колхозов потянулось на заработки и на постоянное жительство и работу в города. И чтобы приостановить этот отлив рабочей силы из деревни, колхозников лишали паспортов и запрещали им выезд без разрешения председателей и местных представителей власти. По существу, сталинское руководство разорило колхозы, особенно во всей северной части Европейской России, и отбило у многих колхозников интерес к труду. И только на юге и юго-востоке страны, где земля сторицей вознаграждала труд, колхозы могли существовать безбедно и иногда даже процветать.

19. Таким образом, реальные экономические отношения в промышленности и сельском хозяйстве вступили в вопиющее противоречие с идеалами социализма и программой партии. И очень

скоро бюрократические верхи, правящие страной, стали на путь сокрытия от населения, от трудящихся масс города и деревни истинного положения дел, на путь засекречивания экономических процессов, происходящих в стране. В еще большей степени экономика СССР была засекречена от мирового общественного мнения — как от враждебного мнения буржуазных кругов, так и от в принципе сочувствующих взоров пролетариата передовых стран. Об экономике не говорили, не писали. Но так как экономика пятилеток — одно из основных понятий марксизма, и о ней нельзя было не говорить и не писать, то под экономикой скоро привыкли разумеать развитие производительных сил страны. Экономикой стали называть строительство, пуск заводов, работу фабрик, шахт, электростанций, железных дорог и т. д. Экономика в настоящем смысле слова стала «книгой за семью печатями». Эта засекреченность экономики от основного населения страны и вытекающая отсюда безответственность и бесконтрольность всех экономических мероприятий власти стали, по-видимому, причиной образования ее партийно-бюрократической иерархии, изолированной от трудящихся, стоящей над массами. Именно эта экономическая засекреченность создала резкий контраст между чрезмерной бедностью трудящихся и чрезвычайной обеспеченностью партийно-бюрократических верхов и способствовала всякого рода злоупотреблениям в этой области. Таким образом, теоретический принцип социализма «от каждого по способностям, каждому по его труду» — на практике давно извращен. Труд рядовых граждан ценится слишком низко, если даже они проявят незаурядные способности и хорошо ведут свое дело. Труд же «номенклатурных работников» ценится слишком, а иногда непомерно высоко, даже если они и не проявляют никаких способностей и вредят делу своим зазнайством, своей бюрократической волокитой («могу утвердить, могу не утвердить»).

Все это представляет, несомненно, внутреннее социальное противоречие общества.

Основано ли это противоречие на эксплуатации широких масс трудящихся господствующим слоем общества? Конечно, «номенклатурные работники» и члены их семей живут чрезмерно обеспеченно потому, что присваивают себе с помощью открытых правовых уложений некоторую часть стоимости общенациональной продукции, создаваемой трудом рядовых работников — рабочих, колхозников, служащих. И когда эти нуждающиеся люди сталкиваются с фактом чрезмерной обеспеченности правящего слоя,

они соответственно испытывают к нему зависть, ненависть, презрение, имеющие характер классовой розни.

По пути присвоения себе всякого рода бытовых излишеств с вытекающим отсюда превышением власти и даже злоупотреблением ею, пошли, главным образом, те представители партийно-бюрократических верхов, которые по своему происхождению или склонностям тяготели к бюрократическому самодовольству и чванству, к вождизму. Уже давно создан тип партийного бюрократа, слишком упитанного физически и грубо импозантного в своих манерах, грубо деспотического в своих действиях. Из всего этого совсем не следует, что все руководящие партийные работники таковы. Среди них немало и скромных, честных людей, пользующихся своими привилегиями по возможности скрыто. Но партийных «бонз» и «сатрапов», к сожалению, слишком много. Чем дальше от Москвы, особенно на юго-востоке, тем разнузданнее они в своем властолюбии. О ленинской простоте и демократичности они и думать забыли, а напоминание об этих качествах в юбилейных статьях и речах не производят на них никакого впечатления. Судебные процессы над Берия и Багировым показывают, до какой степени преступности некоторые из них, особенно самые высокопоставленные, могут дойти. Но особенно опасной чертой деятельности партийно-бюрократических верхов является не их склонность к личным злоупотреблениям, а их общая неспособность по-настоящему управлять государством. И по самой своей бюрократической природе партийные верхи все более обнаруживают в своей работе внутреннюю инертность и консерватизм, стремление крепко держаться за установленные формы, боязнь тех или иных решительных перемен сложившихся социальных отношений и принципов руководства. Подавляющее большинство «советских» бюрократов всегда предпочитает следовать скорее букве закона, привычным методам и приемам подготовки в разрешениях тех или иных мероприятий, нежели исходить из интересов дела, из соображений общественной пользы, государственной выгоды, блага трудящихся масс. Они разводят бумажную волокиту, чуждаются всякого организованного новаторства, замораживают ценнейшие технические изобретения, тормозят международный обмен научным опытом, а иногда даже политически поддерживают сторонников отсталых теорий и шельмуют представителей передовой науки, как это было, например, долгие годы в области биологии. За все это часто очень дорого расплачиваются общество, и государство, и все население страны. Это очень часто вредит положению СССР в международном масштабе. Преступ-

но-халатная подготовка к войне со стороны сталинского руководства, приведшая страну к страшным потерям и поражениям в первые годы войны, является этому самым ярким примером. И нет сил, которые могли бы преодолеть эту губительную инертность и консерватизм правящих кругов.

20. Но как же отражается эта социальная структура советского общества на его политических отношениях, на его идейной и нравственной жизни?

Безраздельная власть партийно-бюрократических верхов, засекречивающих от трудящихся принципы и процессы жестокой экономической эксплуатации рабочих, служащих и, в особенности, крестьян во имя строительства коммунизма и пользующихся этим в своих бытовых интересах, определили и политический строй общества. «Диктатура пролетариата», теоретически обоснованная Марксом и Лениным, очень скоро превратилась в диктатуру партийно-бюрократических верхов. Несмотря на то, что в «советском» обществе даже с 30-х гг., после ликвидации кулачества, существовали две формы собственности — государственная, напрасно именуемая иначе «народной», и крестьянско-артельная, «колхозная», каждая из которых имела свои политические интересы, — все же страной правила и правит одна бюрократически организованная политическая партия.

Это привело к полному вырождению государственной формы «советской» власти или, точнее говоря, власти «Советов рабочих и крестьянских депутатов».

Партийная бюрократия в своей «номенклатурной» иерархии правит страной не через Советы, а через партийные учреждения — Центральные комитеты, обкомы, райкомы и далее через стоящие под властью партии государственные учреждения — Советы министров, министерства, облайсполкомы и их отделы. Все эти государственные учреждения считаются и называются «советскими», а проявляемая ими власть — «советской властью» только потому, что руководящие ими работники, являясь представителями партийно-бюрократических верхов, выступают вместе с тем и как депутаты Советов, избранных всем населением на «прямых, тайных и равных выборах». Однако все они выдвигаются в депутаты не самим населением, не общественными организациями населения, не общественным мнением трудящихся, а негласно, по партийно-бюрократическим каналам, население же вынуждено их поддерживать и за них голосовать. Но в Советы входят не только партийно-бюрократические работники, а и другие депутаты,

также выдвинутые партийно-бюрократическими верхами за те или иные общественные заслуги и способные повиноваться слепо власти. Такие депутаты состоят при разных отделах исполкомов и участвуют в обсуждении тех или иных вопросов. Но эти вопросы бывают обычно заранее выдвинуты и решены партийно-бюрократическими руководителями этих отделов исполкомов, а иногда и высшими руководящими кругами. Изменить здесь что-нибудь по своей инициативе и своему разумению рядовые депутаты не могут. Основная функция заключается в общении с населением, в приеме прошений и жалоб, преимущественно личного, бытового характера, в поддержке этих прошений перед бюрократической властью, причем поддержка эта не всегда получает удовлетворение.

То же надо сказать и о депутатах, выбираемых в Верховный Совет и заседающих на его сессиях. Они присутствуют на заседаниях, иногда выступают в прениях по вопросам, выдвинутым и заранее решенным высшими партийно-бюрократическими кругами. Им всегда приходится лишь поддакивать власть имущим или словесно применять их решения к нуждам своих территориальных и профессиональных областей. Поэтому и сами выборы депутатов в «советы» превратились в пустую форму, лишенную содержания, являющуюся пародией на советскую демократию. Население выбирает лиц, заранее выбранных партийно-бюрократическими верхами, и при этом выбирает одного депутата из одного возможного кандидата. Население понимает или хотя бы чувствует это и покорно ходит на выборы для выполнения своей формальной гражданской обязанности без всякого интереса к результатам.

Таким образом, «советская» власть существует у нас только в том смысле, что партийно-демократические верхи правят страной от имени власти Советов, депутаты которой выбираются по принуждению.

Не только все беспартийные граждане, а и рядовые члены партии по сути дела не имеют никаких политических прав. Какие-либо формы политических разногласий или, тем более, открытой внутрипартийной политической борьбы считаются недопустимыми и подавляются самыми крутыми и грубыми политическими репрессиями. Все члены партии, по меткому выражению писателя А. Яшина, давно превращены в политические «рычаги».

В этих условиях открытая политическая деятельность самой государственной власти сводится к организации и реорганизации

правительственных учреждений, к назначению и смене руководства, к официальным выступлениям руководящих лиц.

Из этого не следует, что в партии нет политической борьбы, возникающей при решении сложных вопросов гражданской жизни. Она есть, но она протекает скрыто, «келейно», в недрах партийных и государственных организаций. В ней трудящиеся массы страны не принимают никакого участия. Они узнают о ее результатах из публикаций уже принятых решений или же слухов, которые всегда могут оказаться неверными или даже нарочно распускаемыми теми или иными кругами, нередко враждебными. Иначе говоря, политическая жизнь страны лишена какой-либо демократичности. Политика оказывается столь же или даже в большей степени засекреченной, нежели экономика. В такой атмосфере, естественно, возникали политические злоупотребления. В стране давно существует диктатура узкого круга высших партийных руководителей, принимающая обычно форму диктатуры отдельной личности, окружающей себя ореолом высшей власти, которой легко можно злоупотреблять. Так, с 1934 года, когда Сталин перешел к политике уничтожения крупнейших партийных оппозиционеров, а вместе с тем и проводящих генеральную линию партии ее высших руководителей, которые были против его личного возвышения и методов его руководства, — в стране была создана атмосфера сплошного внутреннего наблюдения и шпионства. В большинстве учреждений, предприятий, коллективов, даже в коммунальных квартирах были выделены следственными органами политические осведомители. На эту позорную работу пошли многие люди — отчасти из страха и под давлением следственных органов, отчасти из соображений личной карьеры, иногда из ложно понятого партийного и общегосударственного долга. В дальнейшем некоторые из этих осведомителей стали злоупотреблять своей властью, оговаривая ни в чем не повинных людей, иногда сводя с ними таким путем свои личные счета.

Апогеем такой «кампании» негласного и огульного шпионства был период третьего цикла сталинских злоупотреблений безграничной властью, связанный с именем Ежова, позднее — Берия. В этот период миллионы «советских» граждан стали жертвами арестов, доносов, пыток, казней, были обречены на длительное пребывание в тюрьмах и концлагерях, откуда многие из них не возвратились. Для оправдания этих массовых репрессий против рядовых граждан Сталин выдвинул специальную теорию, согласно которой классовая борьба в стране, строящей социализм, будет продолжаться и даже углубляться в течение долгого вре-

мени, вплоть до полного построения и консолидации нового общества. Объективный же смысл происходящего заключался, видимо, в том, что в условиях тяжелой эксплуатации трудящихся, вызывающих их недовольство, при нарастающей опасности нападения со стороны капиталистических стран, прежде всего — фашистской Германии, Сталин рассчитывал укрепить власть возглавляемых им партийно-бюрократических кругов, разделяя трудящиеся массы и политически натравливая их друг на друга. Его разведывательно-следственный аппарат, арестовывая некоторую, примерно одну десятую часть граждан, объявлял их «врагами народа», обвиняя их в предательстве и пособничестве враждебным силам за рубежом, чтобы напугать оставшиеся на свободе 9/10, создать у них иллюзию опасности для самого социалистического строя, сделать их более покорными правящим верхам и преданными власти.

Для проведения этих репрессий в разведывательно-следственных органах нашлось немало людей с партийными билетами, которые из соображений политической карьеры и страха, доходя до нравственного разложения, готовы были идти на применение самых крайних и жестоких мер по отношению к арестованным. И хотя в застенках и концлагерях Сталина было все же гораздо меньше палачества и садизма, чем в концлагерях Гитлера, принципиальной разницы между ними не было. Тем более, что фашисты жгли в печах Майданека и Освенцима главным образом граждан других, завоеванных ими стран, а сталинские следователи и надсмотрщики свирепствовали над гражданами своей страны. Поэтому фашистов пострадавшие от них народы до сих пор проклинают открыто, а о сталинских репрессивных органах глухо молчат. И многие из сотрудников этих органов продолжают жить на свободе, на высоких пенсиях.

21. Система партийно-бюрократического централизма, лежащая в основе жизни советского общества, не могла не отразиться и на характере его идеологии. Идеология господствующего правопорядка всегда создается для того, чтобы оправдать его в глазах общества путем идеализации положительных сторон этого правопорядка и замалчивания его отрицательных сторон. В «советском» государстве идеология создается и распространяется среди населения только самими партийно-бюрократическими верхами, правящими страной диктаторскими методами, на основе засекреченности экономических и политических отношений. В стране господствует идеологический централизм, господствует

лишь одна идеология, исключаяющая и подавляющая все другие. Вся печать и ее цензура принадлежат исключительно партии и находящемуся в ее руках государству. Право собраний и публичных высказываний принадлежит только им и регулируется ими. В обществе нет и намека на свободу слова.

Поэтому господствующая идеология лишена начал исследования и критицизма. Критике подлежат только отдельные факты и лица, да и то, если последние не занимают высоких постов. Критиковать основы существующего строя, принципы организации власти и руководства общественной жизнью запрещается под угрозой тяжелых репрессий. Поэтому никаких открытых серьезных идеологических дискуссий в обществе и даже в партии не происходит. Времена политических дискуссий 20-х годов кажутся теперь сказочными.

Все это превращает господствующую идеологию в официальную непререкаемую догму, в значительной мере словесную, формальную, основанную на цитатничестве и ссылке на авторитеты. Из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина берутся только те положения, которыми можно оправдать существующее положение, а всё прочее не рассматривается. В особенности это относится к работам Ленина, хотя господствующая концепция носит название «марксизм-ленинизм». История партии излагается крайне тенденциозно, в целях возвеличивания партийного руководства и его деятельности, для очернения всякого рода оппозиции и врагов руководства. Такое изложение происходит путем искажения и подтасовки фактов, путем умалчивания о ряде событий и многих именах или приписывания неудобным лицам того, чего они не думали и не делали.

В таком виде изо дня в день эта догматизированная идеология преподносится массам в прессе и публичных высказываниях руководства. В таком виде она преподносится юношеству в высших учебных заведениях, в системе партпросвещения, в «партийных школах». Естественно, что она принимается на веру только людьми политически наивными и неразвитыми и способствует развитию такой наивности и неразвитости. А некоторые лица, особенно члены партии, стремятся внушить ее себе по долгу партийности и службы. У многих же членов общества вся эта официальная идеологическая пропаганда не может не вызвать идейного безразличия или идейной опустошенности и скептицизма, иногда даже цинизма. В стране давно уже происходит процесс деидеологизации общественного сознания, создающий благоприятную почву для всякого рода чуждых влияний и увлечений,

иногда совершенно нелепых. Все это, конечно, не укрепляет, а расшатывает существующий строй.

22. Материальные и идеологические отношения в стране определяют наконец и нравственное состояние «советского» общества. Старая религиозная мораль, вызывавшая к осуществлению идеала добра и правды, опираясь на идею загробного воздаяния, давно дискредитирована в глазах большинства членов нового общества, хотя холодная абстрактность официальной идейной пропаганды и заставляет некоторых тянуться опять под обаяние старой религиозной символики. Новая материалистическая мораль теоретически не разрабатывается, не обосновывается с философской и исторической точек зрения. Она также сводится к догматическому провозглашению абстрактных лозунгов, не могущих затронуть человеческое сознание сколько-нибудь сильно и глубоко.

А между тем материальные отношения, господствующие в «советском» обществе, часто соответствуют возникновению аморальных переживаний и поступков. С одной стороны, слишком большая материальная, семейно-бытовая обеспеченность партийно-бюрократических верхов часто вызывает у самих «номенклатурных» работников, а в особенности у членов их семей, не только самодовольство и заносчивость, но нередко и развращенность, она толкает их на стремление к еще большему достатку, на разбазаривание и присвоение государственного имущества, на жажду удовлетворения своих разнузданных страстей, иногда приводящих их к преступлениям. Представители такой развращенной чрезмерным достатком молодежи получили даже название в прессе «плесени». Иногда о них пишут, часто их судят, но положение от этого не меняется. С другой стороны, материальная необеспеченность трудящихся города и деревни часто толкает их на повышение своего жизненного уровня путем воровства и также приводит к нравственной растленности, выражающейся в пьянстве, в издевательствах над женами и детьми, в домашних склоках, нежелании работать, в хулиганстве и часто в бессмысленных преступлениях.

При этом страшно не только то, что остро нуждающиеся люди портят жизнь своих семей, идут на преступление, гораздо хуже то, что люди, работающие и даже не плохо зарабатывающие, часто бросают своих жен и детей, а иногда и берутся за ножи из-за полной нравственной невоспитанности и опустошенности. Они доходят при этом иногда до изуверства, до садизма, напри-

мер, проигрывая друг другу в карты жизнь случайных прохожих и проезжих.

В лучшем положении как будто находятся средние слои «советского» общества, которые не ведут слишком обеспеченной, беззаботной жизни, но в то же время зарабатывают достаточно, чтобы сводить концы с концами и вести «нормальную» жизнь с членами своих семей. Но именно в нравственном сознании этих слоев особенно наглядно и отчетливо проявляется еще одна отрицательная сторона жизни «советского» общества: отсутствие в ней истинно демократического содержания и вытекающих из него активных гражданских интересов. Отсутствие таких интересов приводит членов этого общества в мир личных, частных, семейных вопросов и отношений, к обывательскому существованию. Рядовой советский гражданин, помимо служебных забот, думает главным образом о приобретении личного имущества — хорошей квартиры, дачного участка, телевизора, костюмов и т. п. Он копит на это деньги, гордится всем этим перед родственниками и знакомыми. Люди такого пошиба являются, по сути дела, представителями «советского» мещанства.

Отсутствие в жизни нашего общества живого демократического содержания, отсутствие свободы мнений, свободы слова, официальность и формальность идеологии — все это разъединяет членов общества в их повседневном существовании, делает их безучастными и равнодушными друг к другу. Конечно, встречаются сплоченные семейные и профессиональные коллективы, члены которых поддерживают друг друга и заботятся друг о друге. Но это — оазисы в общей пустыне равнодушия и нравственного одиночества. Если у человека нет большой, хорошей, дружной семьи и близких друзей, он связан в жизни только с холодными бюрократическими начальниками на работе и равнодушными соседями дома. Из тех и других мало кто проявляет желание и готовность помочь ему в беде. «Советские граждане», в общем, и понятия даже не имеют о том, что значит истинная социалистическая демократия и вытекающая из нее коллективность нравственных отношений. Таким образом, если в своей социально-политической жизни «советское» общество стало давно централизованно-бюрократическим, то в своих идеологически-нравственных отношениях оно давно уже стало авторитарным. Большинство его сознательных граждан, преданных существующему строю, обладает мировоззрением «марксистско-ленинским», мирозерцанием — ведомственным, мироощущением — обывательским.

23. Однако стремление к имущественному приобретательству и личному обогащению обусловлено не только теми особенностями производственно-экономических отношений, которые господствуют в нашей стране. Здесь действуют, по-видимому, и гораздо более глубокие исторические причины.

А. И. Герцен в 1869 году в первом письме «К старому товарищу» писал: «Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он *внутри не кончен и потому еще, что ни мир строящийся, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь*».

«Русский путь перехода к социализму» как раз и заключается в том, что, по причине слабости нашей буржуазии, крепко связанной с самодержавно-помещичьим строем, и ввиду их общенационального банкротства, развитие капитализма в России было прервано в самом начале. Русский народ так и не узнал, не испытал полноценного развития капиталистических отношений. Эти тенденции не получили соответствующего удовлетворения в объективных социальных процессах, но они существовали субъективно внутренне и были подавлены резким переходом к экспроприации частной собственности на средства производства. Русский «буржуазный мир» был «внутри не кончен» и, естественно, он стал постепенно проступать в мире «социалистическом» в той мере, в какой это позволяют ему принципы «социалистического» производства и общежития. Возврат к этому миру уже, конечно, невозможен, но он, загнанный вглубь души советских людей, проявляет себя и создает глубокие внутренние препятствия успешному развитию нового общества.

24. Такова отрицательная сторона общественной жизни народа, который первым пошел по «русскому пути перехода к социализму» и идет по нему вот уже полстолетия. Все эти отрицательные черты сложились в период сталинского руководства, продолжавшегося около тридцати лет. Сталин умер в 1953 году, и после его смерти в жизни советского общества произошли как будто разительные перемены. Законность вступила в свои права, ни в чем не повинных людей перестали объявлять «врагами народа», хватать, негласно судить, казнить, ссылая, держать в концлагерях.

Но изменился ли при этом самый строй общественной жизни в нашей стране? На этот вопрос приходится ответить отрицатель-

но. По-прежнему власть в государстве принадлежит партийно-бюрократическим верхам, по-прежнему экономические процессы и политические отношения остаются скрытыми от трудящихся масс. Ни профсоюзы, ни какие-либо другие организации граждан не принимают участия в управлении производством. По-прежнему трудящиеся механически голосуют на выборах за заранее выбранных депутатов в Советы, а от их имени по-прежнему правят министры, председатели исполкомов, секретари обкомов и райкомов, назначенные ЦК и обкомами партии. По-прежнему существует резкий контраст между чрезмерной материальной обеспеченностью правящих верхов и крайне низкой зарплатой большинства рабочих, служащих и колхозников. По-прежнему на этой почве возникает множество уголовных преступлений. По-прежнему в сознании общества господствует официальная идеологическая концепция, насаждаемая сверху и не подлежащая обсуждению по существу. И все это по-прежнему создает проявление общественной безнравственности. «Советские» граждане по-прежнему лишены какой-либо истинно демократической воспитанности. Они покорно выполняют предписания высшей власти и живут производственно- и служебно-обывательской жизнью.

Эта неизменность принципов управления страной имеет свои внутренние и внешние причины. Первая, в основном, заключается в том, что партийно-бюрократические верхи, сложившиеся и воспитанные при Сталине, считают невозможным отказаться от неограниченности, бесконтрольности и безответственности личной власти, от засекреченности своих политических и экономических мероприятий, от своих правовых и материальных привилегий. Они сжились со всем этим и не понимают, или делают вид, что не понимают, насколько все это в корне противоречит принципам подлинной социалистической демократии. Характерен в этом отношении тот факт, что попытки Хрущева хотя бы отчасти ограничить благосостояние «номенклатурных» работников не привели к сколько-нибудь существенным результатам. Они просто не разрешили ему это сделать.

Внешней причиной сохранения принципов управления является появление на авансцене капиталистического мира новой могущественной и все более агрессивной державы — США. Это заставляет правительство СССР тратить огромные средства на оборону, сохранять жесткий политический режим в стране, засекреченность экономики и политики, неограниченность в своей власти.

Для изменения существующего положения необходим перелом в верхах. Инициативы снизу ждать невозможно. Трудящиеся

массы так привыкли к повиновению, что не могут заставить правящие круги взяться за осуществление тех задач, которые в последние годы своей жизни поставил перед советским обществом Ленин.

Коммунизм не сводится к росту производительных сил, производительности труда и материальной культуре. Коммунизм есть прежде всего полное торжество социалистического демократизма и свободной гражданской самодеятельности масс, основанной на самоуправлении трудящихся во всех областях жизни. Пока не начнут постепенно и сознательно одолевать тяжелые извращения социалистической демократии, являющейся существенной особенностью современного общественного строя в СССР, никакого коммунизма в этой стране невозможно будет достигнуть ни через 20, ни через 100 лет. При таких условиях возможна лишь пародия на коммунизм.

Странный опыт странного человека

Самый свирепый и придирчивый цензор сидит в нас самих. Он строго следит, чтобы никакое слово, никакой жест, никакие движения губ или глаз не выдали нас, не позволили бы никому проникнуть через созданную между нами и миром преграду, не позволили бы нам самим перешагнуть через запретную грань. Она у нас точно проложена. Меняются, конечно, со временем и даже довольно часто её очертания, но только в очень узкой полосе: читайте газеты и вы будете знать, где сегодня проходит эта меловая линия. Через неё ни шагу дальше! Что я! — не меловая линия, а частокол, сильнее — колючая проволока, через которую пропущен электрический ток. На вышках — зоркие часовые. За этой колючей проволокой — наш внутренний мир, тщательно от всех скрываемый, душа, сказали бы наши деды. Они, конечно, ошибались, называя это душой. Но дело не в терминологии. Важно: наш внутренний мир загнан в подполье, там мы ведем несмелую беседу сами с собой, перешептываемся; если же достигли полного контроля над своим внешним поведением, над речью, которую держим на собраниях, в среде сослуживцев, в кругу друзей, семьи; если выработали в себе безотказный павловский рефлекс, не позволяющий ни при каких обстоятельствах перешагнуть запретную границу, — в этом внутреннем мире могут возникнуть и страсти, и горячие споры, и резкие суждения, и даже протест и бунт. Но на поверхности все и всегда процежено, взвешено, а главное, *согласовано*... Есть одно состояние, когда все это может выйти наружу: когда выпьем, и выпьем крепко. Правда, вырвавшееся тогда бесконтрольно наружу принимает особые призрачные, дымчатые формы. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так-то так, да язык-то пьяный — особенный: нескладный, бессвязный и адресован он собутыльникам, у которых мысли столь же дурманные, скачущие и перескакивающие, одним словом, столь же пьяные.

За этим дымом, чадом, угаром не увидишь ни четких контуров, ни ясных формулировок, а лишь их искаженную и обезображенную тень, тень от той относительной четкости и ясности, которая жила и будет жить за колючей проволокой цензуры.

Но, может быть, есть момент, мгновение, переходной миг, когда внутреннее запретное содержание робко выглянуло из подполья и не успело еще завихриться в пьяном тумане. Остановим этот миг и сделаем моментальный снимок с самой короткой выдержкой. Проявим, зафиксируем и отпечатаем полученный снимок, и тогда перед нами предстанет в ярком солнечном освещении то, что пряталось и таилось. Три таких снимка и были сделаны в большой квартире в новом доме на Ленинском проспекте в Москве летом 1968 года. Квартира эта принадлежит Владимиру Михайловичу Дунину, химику, заместителю директора одного из крупнейших московских научно-исследовательских институтов. На одном из этих снимков — хозяин квартиры; на двух других — его гости: Леонид Семенович Ватютин, талантливый ленинградский математик, профессор Ленинградского университета, и Константин Петрович Пучков, известный киевский хирург.

Мы растянули эти снимки вдоль по четвертому измерению, по времени, оживили персонажи, посадили их за стол, включили магнитофон и записали происшедший между ними разговор. Вот он.

ХИМИК: Я думаю, что мы можем начать с положения, которое, я надеюсь, мы все разделяем: нынешнее руководство неспособно реформировать партию, а без реформы партии мы не только не можем исправить положения, но и дальше будем барахтаться в трудностях, без всяких шансов с ними справиться.

МАТЕМАТИК: Что вы понимаете под реформой партии? Если на эту реформу не способно руководство, то кто ее будет проводить?

ХИМИК: Ее могут провести лучшие элементы в партии. Если бы их не было, то все бы уже давно рухнуло. Если эти элементы оказались способными предотвратить худшее, то они смогут добиться и реформы.

ХИРУРГ: Но ведь предотвращая провал, именно эти элементы способствовали укреплению нынешнего руководства, а оно, по вашим словам, не способно к реформе. Не видите ли вы в этом противоречия, заколдованного круга?

ХИМИК: Нет. Дело не в смене руководства. Это — второстепенная, скорее техническая проблема. Руководство не способно провести реформу, но оно может быть *вынуждено* ее санкционировать.

МАТЕМАТИК: Я готов был бы с вами согласиться, если под реформой понимать реформу жизни в стране, а не реформу партии как таковой. Реформу в стране можно осуществить и без реформы партии, вернее, ее руководства.

ХИМИК: Это — утопия. Что вы сейчас можете сделать в стране без прямой или косвенной санкции партии? Ничего.

МАТЕМАТИК: Формально вы правы, но не мне же вам говорить, что многие члены партии, помимо членского билета, ничем не отличаются от любого другого советского гражданина. Я не за выход из партии, наоборот, я за формальное пребывание в партии. Это дает ряд преимуществ и открывает ряд возможностей, но я не смешиваю пребывание в партии с заботами о ней как таковой.

ХИРУРГ: Вы не смешиваете, а как быть с теми, кто смешивает? В чем различие между членами партии по существу и членами партии только по партийному билету? Для стороннего человека все они одним миром мазаны. В чем эти отличия обнаруживаются, и как посторонний наблюдатель может отделить «козлиц» от «овец»? А «козлица»-то эти несут ответственность за все прошлые ошибки и, будем говорить прямо, преступления. Нет, реформа партии — безнадежное дело. Надо выходить из партии и этим демонстрировать, именно демонстрировать свою волю к реформе.

ХИМИК: В вас говорят сентименты. Лично я их полностью разделяю. Но давайте представим себе, что означала бы ликвидация партии. В партии сейчас более тринадцати миллионов человек. Ведь партия, как нервная система, проникает во все поры государственной и общественной жизни, жизни вообще. Можно хирургически удалить тот или иной орган, можно многие из них заменить другими. Сейчас даже сердце заменяют, но ни один хирург не пойдет на удаление нервной системы. Это значит обречь организм на смерть. Крах партии — это крах государства. Я не защищаю нашу партийную систему, я считаю с ней как с фактом. У нас слишком много врагов. Я говорю не только о коммунизме, я говорю о России. Мы не можем с легким сердцем отважиться на такую операцию. Слишком велики шансы смертельного исхода.

МАТЕМАТИК: Я с вами во многом согласен, но подчеркиваю: речь идет не о функции партийного аппарата в жизни страны, а о людях, которые этот аппарат составляют. Измените персональный состав, — и вы сразу убьете двух зайцев: избежите опасностей, о которых вы говорите, и достигнете цели.

ХИРУРГ: А не утопия ли ваше безболезненное решение? Как вы смените партийный состав? Он изменяется и обновляется по указке свыше, а вышестоящие подбирают людей по своему усмотрению, а следовательно, и по своему образу и подобию.

МАТЕМАТИК: Хотели бы подбирать по этому принципу, да не могут. Больше не могут. Требования научного и технического прогресса, требования экономики — объективны. Эти требования автоматически продвигают на командные высоты людей, обладающих нужным капиталом знаний. Партийное руководство принуждено включать этих людей в партию, иначе в стране создадутся два авторитета.

ХИРУРГ: Вот именно. К созданию этого второго авторитета и нужно стремиться, а следовательно, авторитетным людям не следует вступать в партию. Пусть партия отмирает. Я не боюсь опасностей, о которых говорил Владимир Михайлович. Нервную систему не нужно удалять оперативным путем, надо заменять одну систему другой, в корне отличной, и пусть она по-своему заполняет поры жизни. Как это говорится: не вливай новое вино в старые мехи.

МАТЕМАТИК: И что же вы думаете, партийное руководство будет спокойно наблюдать за процессом этого переливания? Как вы все это представляете себе практически?

ХИРУРГ: А как вы представляете себе схему замены партийного состава? По-вашему, партийное руководство будет спокойно смотреть, как вы у него вытаскиваете ковер из-под ног?

ХИМИК: Вот видите, вы оба наталкиваетесь на одну и ту же трудность: пока партийное руководство окончательно не выжило из ума или сознательно не закапслюлировалось в своей изоляции, — вы ничего не сделаете. Только приток новых людей в партию и завоевание ими позиций *внутри* партии могут привести к реальным результатам в обозримом будущем.

МАТЕМАТИК: Чехословацкий вариант?

ХИМИК: Да, если хотите.

ХИРУРГ: Для чехословацкого варианта у нас нет исторических предпосылок. У нас эти предпосылки как бы с обратным знаком. У них не было ни Сталина, ни сплошной коллективизации,

ни многомиллионных концлагерей. Это — с одной стороны, а с другой — у них еще свежи в памяти демократические традиции. Поэтому чехословацкая компартия еще не исчерпала своих возможностей и не полностью растратила свой моральный капитал. Они могут экспериментировать за нашей широкой спиной. У нас конфигурация стимулирующих и тормозящих факторов совершенно иная. Наша партия обречена на консерватизм и косность. Руководство связано круговой порукой ответственности за сталинское прошлое. У кого из них рыльце не в пушку! Мы — жандарм в социалистическом лагере, а потому для партии неизбежна и жандармская роль внутри страны. Нет, выход только вне партии.

ХИМИК: Вы совершенно игнорируете наши аргументы об опасности разрушения партии и нереальности работы — не мыльных пузырей демонстраций, а работы без партийного билета.

ХИРУРГ: Разрешите мне тогда задать вам вопрос: как же вы видите конкретно осуществление ваших планов?

ХИМИК: Да, мы увлеклись спором, не уточнив позиций. Извольте. Моя позиция такова: любое действие, имеющее целью радикальное изменение положения в стране (в этом мы все едины, не правда ли?) практически возможно и морально-политически оправдано (я говорю об ответственности перед страной!) только в рамках партии. Партия — скелет нашего государства. Созданной системой надо пользоваться. Для этого надо делать следующее: 1) всякое действие оправдывать интересами партии; это нас ни к чему не обязывает, и мы умеем это делать; в трудах Ленина можно найти всё, что угодно, даже почище НЭПа; 2) вливать в партию новых, особенно молодых людей; они своей работой в партии автоматически будут менять ее характер; 3) увеличивать количество членов партии (ведь в нашем обществе партия в перспективе должна слиться с народом, не так ли?) и добиваться демократизации в ее рядах; этот лозунг популярен, авторитет Ленина тут на нашей стороне. Сумма этих мероприятий, без всяких потрясений, неминуемо приведет к реформе партии, а следовательно, и к радикальному изменению положения в стране.

ХИРУРГ: Иными словами, вы рассчитываете на биологическое, стихийное перерождение партии. Но это ведь не имело места ни при Сталине, ни при Хрущеве. Явно не имеет места и сейчас. Не кажется ли вам, что вы попросту уходите от инициативы и ответственности в этом вопросе и предоставляете дело самотеку?

ХИМИК: Отнюдь нет. Я обрисовал лишь ход операций и несколько не рекомендую сидеть сложа руки. Инициатива и ответственность ложится на тех людей, которые должны энергично и спешно взяться за это дело. Естественно, время не терпит. Но само ощущение спешности задачи и необходимость ее разрешения под угрозой надвигающейся катастрофы — достаточные стимулы, чтобы взяться за все это решительно.

МАТЕМАТИК: Последнее, что вы сказали, позволяет и мне уточнить мою позицию. Из сказанного вами явствует, что какие-то люди в партии (очевидно вы не имеете в виду руководство!) должны взяться за дело по существу, вопреки линии нынешнего руководства. Вот именно это я и подчеркиваю. Эти люди должны иметь свои собственные замыслы и цели. Эти замыслы и цели не совпадают с интересами руководства. Это ясно, иначе незачем было бы огород городить — все произошло бы по инициативе сверху. Руководство же недостаточно ослепло, чтобы не противодействовать обрисованному вами процессу. Борьба неизбежна. Для чего же в этой борьбе делать что-либо, что укрепляло бы это руководство? Нет, указанные вами люди должны сознавать, что все разговоры об интересах партии, сиречь руководства, — в пользу бедных. Это — мимикрия, дымовая завеса, печальная необходимость, тактический прием и только. К этому приему относится и состояние в партии. Иными словами, я за постепенное создание новой «нервной системы», которая, пользуясь партийной оболочкой, прочно бы внедрилась в жизнь. А тогда не будет страшным и хирургическое, в случае нужды, удаление системы старой, вернее, ее остатков. Я даже не думаю, что в этом появится нужда: можно будет предоставить мертвым хоронить своих мертвецов.

ХИМИК: Я полагаю, что расхождение между мною и Леонидом Семеновичем не столь велико: я только не хочу отбрасывать людей, которые стремятся и к реформе партии. У нас в стране партийная карьера — обычный путь для общественного деятеля, и не все идущие этим путем, — бюрократы, догматики, стяжатели, авантюристы или подхалимы. Есть и честные, идейные, жертвенные люди. В одном из наших крупных академических центров партийная организация почти сплошь состоит из крупных ученых (к тому же молодых!), докторов и членкоров. Никто из них не нуждается в дополнительном партийном авторитете. Любой из них рассматривает свое пребывание в парторганизации как общественную нагрузку. Так они могут сделать много полез-

ного для научного коллектива и, в частности, преградить дорогу вредным элементам. Я не вижу необходимости отмечать этих людей и создавать антагонизм между стремящимися к реформе партии и теми, кто стремится к реформе в стране, лишь используя партийный билет.

МАТЕМАТИК: И речи нет об антагонизме. Но для консолидации движения необходима четкая программа действий, система. У ваших академиков ничего этого нет. Они занимаются крохоборством по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Что от того, что они добьются положительных результатов в данном отдельном пункте? Если подобные группы имеются и в других местах (я сомневаюсь, что таких мест много!), какие у них возможности найти друг друга, договориться? Ведь у них нет и не может быть общего плана. Каждая такая группа — случайное явление, порожденное местными условиями.

Другое дело — люди, которых я имею в виду. У них собственные автономные цели, то есть самостоятельная база для выработки плана глобального, всесоюзного масштаба. Именно в этом масштабе они должны договариваться об операциях общего типа, расставлять своих людей, — одним словом, планомерно добиваться поставленных целей. Тактика же использования, только использования партийного билета позволяет им, кроме всего прочего, легко находить друг друга. Ведь намеки и эзоповский язык могут быть достаточно прозрачными. Всё описанное представляет собою математически разрешимую задачу. Для нее может быть создан соответствующий алгоритм. А для реформы партии такой алгоритм может быть составлен только партийным руководством. Средний и низовой партийный аппарат могут лишь следовать указаниям свыше, или саботировать их, или вносить корректуры на местном уровне. У них не может быть контрплана.

ХИРУРГ: Разрешите теперь мне изложить свою концепцию. Но сначала я хочу отметить, что, обвиняя меня в игнорировании вашего основного аргумента, вы игнорируете *мой* основной аргумент. В обоих ваших вариантах вы не выходите из рамок партии. И в этом — ваш основной порок. Даже для хороших и честных людей в партии пребывание в ней — тяжелый груз, балласт, проклятие. У них как бы цепи на руках и на ногах. Они изолированы от народа. Эти цепи связывают их с прошлыми преступлениями, с культом личности, с террором, насилием и произволом Сталина и Бери, с сумасбродством и авантюризмом Хрущева, с последними бесчинствами КГБ. Давнишние члены партии (а они опре-

деляют ее лицо) не могут отделаться от этого каинового клейма, так как они были или прямыми соучастниками этих преступлений, или покрывали их своей безропотностью. Кто может считаться с их авторитетом, если они не смогли даже закрепить и углубить решения двадцатого партийного съезда? Зачем же людям, честно и независимо от партии заработавшим свой авторитет, лезть сейчас в партию? Ведь не могут же они во всеуслышанье заявить, что они вступают в партию для того, чтобы действовать согласно изложенным вами планам?

Крупнейший недостаток ваших планов, — особенно вашего, Леонид Семенович, — в их келейности. В обоих случаях это какое-то масонство, подпольщина. Ведь этим вы как бы признаетесь в совершении чего-то предосудительного, даже аморального, и этим даете право партийному руководству вскрывать вас как двурушников и преследовать. КГБ ведь дремать не будет, оно зашлет к вам агентуру, спровоцирует вас, пришьет вам связи с заграницей, обвинит в валютных операциях, черт знает в чем. И как вы будете защищаться, как будете защищать ваше доброе имя? чистоту ваших намерений? Ведь все, что вы делали, вы делали в тени, в тиши, под покровом тайны. Прозрачность, о которой вы говорите, — условная, ее можно понимать и так, и сяк.

Нет, надо действовать в открытую, с открытым забралом, без всяких там тонких намеков, так, чтобы люди видели и знали — что, как и почему вы делаете. И тогда не страшны, не страшны морально, преследования. Вас поймут, за вас заступятся, за вами пойдут. Ведь так случилось с Гинзбургом и Галансковым, а ведь обвинение их в связи с заграницей можно считать правдоподобным. И обратите внимание, что протест в случае Синявского и Даниэля не был так велик, потому что обвинение их в двурушничестве имело известные основания. А теперь, представьте себе, что случилось бы, если бы за радикальные реформы открыто выступал человек действительно крупного масштаба, с мировым именем, какой-нибудь ядерщик, например.

Чем он мог бы рисковать? Сняли бы с работы, лишили крупного оклада или персональной пенсии, ну, выслали из Москвы, не пустили бы в заграничную поездку. Эка важность, ему бы все это с лихвой окупилось. И заграничного коньяка бы ему натащали. Но не в этом дело — он стал бы героем, символом, знаменем. Он вызвал бы цепную реакцию подражания. За него заступились бы не десятки и сотни людей, как сейчас за Гинзбурга и Галанскова, а десятки тысяч, сотни тысяч людей.

А вы, вместо таких мужественных актов, предлагаете кровную работу в недрах и подземельях партии и исключаете начисто всю внепартийную массу, то есть по существу основную массу народа.

ХИМИК: Всё, что вы говорите, звучит импозантно, но уж здорово отдает революционно-театральной бутафорией в стиле прошлого века. К чему это донкихотство? Все эти протестующие пошумят, пошумят — и всё тут. Что от этого изменится?

Ведь серьезные люди это понимают. Ваш ядерщик несет ответственность за мир. Это — человек математического расчета, научной логики, а вы от него требуете мальчишеского задора, ребячества, в лучшем случае — позы. Ваши герои — вымышленные, психологически невозможные типы; ваши перспективы могут увлечь только незрелых деклассированных юношей, вроде Гинзбурга и Галанскова.

ХИРУРГ: Ну, вы это уже по официальной версии КГБ! Солженицына и Есенина-Вольпина вы тоже относите к этой категории?

ХИМИК: Солженицын и Есенин-Вольпин — исключения, случайные фигуры, не делающие погоды. Ваш контингент — именно юноши, способные таких дров наломать, что только держись, а нам ни к чему эта роскошь. И так слишком много крови пролито. Люди старшего поколения еще помнят 1917 год и гражданскую войну и ни в коем случае не хотят повторения.

МАТЕМАТИК: Никто этого не хочет!

ХИРУРГ: Так ли это? Выгоняя, как вы выражаетесь, «деклассированных» юношей из вузов, мы их выталкиваем на работу на заводах, а то и попросту ссылаем в концлагеря. И там, и там больше, чем достаточно, горючего материала. Если юноши, как вы говорите, могут наломать дров, то в среде, куда мы их ссылаем, кое-кто сознательно как раз к этому и стремится: не только дров наломать, но и черепа. Наши с вами, в частности. А почему бы и нет? Вот мы сидим с вами в уютной обстановке, попиваем доставленное из-за границы виски, живем в хороших квартирах, имеем дачи, автомашины. Чем мы внешне отличаемся от тех, кто повинен во всех бедах и несчастьях? А этих, этих несчастий, этих слез — горы и моря. Вам это, может быть, и не видно, а я постоянно нахожусь в контакте с больными; они мне говорят не только о своих физических болезнях; говорят и о других. Их наслушаешься и чувствуешь: живем мы с вами на вулкане, на вулкане!

МАТЕМАТИК: Напрасно вы думаете, что я и Владимир Михайлович живем в башне из слоновой кости. И мы кое-что знаем о том, о чем вы говорите. Но такого рода стенания и упреки существовали испокон веков; это — доля человеческая. Если же вы говорите о тех, кто пышет ненавистью, то где здесь провести грань между невинно пострадавшими и просто уголовными элементами? Они ведь тоже часто рядятся в тогу благородных мстителей. Не солидаризироваться же нам с ними?

Напрасно вы нас стращаете народным гневом, красным пепелом и прочими страстями-мордастями. Наш народ повзрослел, а главное — научился разбираться. Вот приведу вам пример. Разговаривал я как-то с молодым парнем, только что вернувшимся со службы в наших частях в ГДР. Было это еще во времена Сталина. Парень этот в прошлом — колхозник. Во время войны, в пятнадцать лет был командиром тракторной бригады. В деревне только женщины остались! Ну, естественно, вспомнил он это страшное время — и разговор соскользнул на тему об ответственности. Я его спросил: кто во всем этом был повинен — председатель колхоза? Да нет, отвечал парень. Был у нас такой, что послабления давал колхозникам, ну, его и сняли. В райкоме, оказывается, тоже никто ничего не мог сделать: давили требования фронта, система. Перешли мы на армию. Говорю ему, что из политграмоты следует, что армия, военные — опора режима, так, может быть, офицеры несут ответственность? Нет, говорит: такие же подневольные люди, как мы; знал одного офицера в Германии, так он подголаживал, всё на посылки домой сберегал. А старшие, генералы? А эти уж вовсе несчастные; нам-то за провинность дадут десять суток, а им за упущение лететь с высоты приходится. Их не жалели, в расход выводили. Так, в поисках ответственности добрались мы до Сталина. Сталин, следовательно, за всё вину несет? А парень улыбнулся и говорит: знаете, получил бы визу в Австралию, и он уехал бы. Право, уехал бы... Вот вам и простой колхозник; четыре класса, а до чего ясно ему было, что всему виной система, а не люди.

Хотел бы отвести и упрек в келейности моего замысла. В нем нет никакой подпольщины. Наоборот, как я уже говорил, всё достаточно прозрачно. Знаете вы этот метод изложения мыслей: сначала несколько торжественных, пышных фраз о могучей поступи, о светлых далях, а в конце ссылка; так, мол, думал и великий Маркс или Ленин. А в середине излагается то, что вам нужно. И тут я могу идти довольно далеко: с партийным билетом

в кармане я великолепно могу пользоваться всей палитрой критики и самокритики, и каждый поймет, что к чему, и не станет меня упрекать в том, что я не лезу на рожон и не пытаюсь прошибить лбом стену.

ХИРУРГ: От вашей критики и самокритики никому ни холодно, ни жарко. Этим занимались и в сталинские времена, а Васька слушал, да ел.

МАТЕМАТИК: В сталинские времена была и такая самокритика, которой занимались на процессах Бухарин и Пятаков; но ведь эти времена прошли.

ХИРУРГ: Так уж и прошли?

МАТЕМАТИК: Конечно, прошли. На этом прошлом и научились. Повторяю, люди теперь иные — разбираются. Но это я только отвечаю на вашу критику. В моем замысле вы пропустили, очевидно, главное: изменить систему можно соответствующей расстановкой людей, насыщением нашими людьми важнейших блоков государственного организма. Важно не то, что они будут говорить, а то, что они будут *делать*.

ХИРУРГ: Вы же только что говорили, что дело не в людях, а в системе.

МАТЕМАТИК: Я привел колхозника лишь как крайний пример; дело и в людях, и в системе. Любая система, в конечном счете, ведь все же создается людьми.

ХИРУРГ: Но самых-то главных людей вы оставляете на месте. Я имею в виду руководство. Что вы с ним будете делать?

МАТЕМАТИК: Этот блок мы переведем на короткое замыкание, отрежем его от остальных блоков, — и тогда руководство потеряет возможность реально воздействовать на жизнь страны. Оно будет жить в мире своих иллюзий. Паразитные шумы, производимые блоком партийного руководства, которые сейчас всё путают и всему мешают, будут переключены, так сказать, на самообслуживание: сами постановили, сами и слушали. А жизнь страны пойдет своим чередом.

ХИМИК: Это — программа на десятилетия. Расслоением партии на две части вы предоставите возможность биологической регенерации. Учтите, средний возраст руководителей партии сейчас перевалил далеко за шестьдесят, через пять лет им будет семьдесят и больше. Им на смену неизбежно должны прийти более молодые. Если допустить замену их себе подобными, — пишите пропало, все ваши планы будут обречены на неуспех. Я не уверен, не клонится ли в Чехословакии дело именно в эту

сторону. Вашим скользким приемом «только партийного билета» вы ожесточите и испугаете часть партии и позволите вашим противникам прийти на смену руководству. Именно поэтому, и не по чему другому, я ратую за реформу партии, включая смену руководства прогрессивными элементами в обозримые сроки.

Вы же оба, при всех различиях ваших рекомендаций, рассуждаете так, как если бы мы находились в безвоздушном пространстве. Мы же не можем экспериментировать. Мы не в изоляции. Мы окружены врагами, которых сами и вырастили. Я уже не говорю о капиталистическом мире и о Китае. Посмотрите, что происходит у наших социалистических соседей в Европе, что происходит в наших собственных республиках — всюду зреют и крепнут центробежные, разрушительные, враждебные силы. Отрубить голову партии или перевести ее, как вы деликатно выражаетесь, на короткое замыкание, это — выпустить из-под контроля все, что сейчас еще держится вместе. Все это полетит к чертовой матери. Что вы думаете — во всех странах и республиках, которые выйдут из-под контроля нашего ЦК, так сразу и установится демократическое благоденствие, потекут молочные реки в кисельных берегах? Сомневаюсь, не думаю. Власть будет захвачена доморощенными диктаторами, которые под флагом и под предлогом антирусскости в такой бараний рог загнут свой собственный народ, что только держись. А своей интеллигенции устроят кровавую баню. Ведь кто из этой периферийной интеллигенции не писал оды, не раболопствовал, не ползал на брюхе? Нет, только изменение, реформа партии, причем искренняя, может привести к безболезненной смене нынешнего руководства, а следовательно, и к предотвращению грандиозного хаоса.

МАТЕМАТИК: Я только не вижу, почему вы считаете, что этот хаос сдерживает нынешнее руководство. Оно-то как раз к этому хаосу и ведет. Оно довело, с одной стороны, до разрыва с Китаем, а с другой стороны, посылкой оружия поддерживает китайско-вьетнамскую авантюру. Какое нам дело до Вьетнама? Нам важно не довести дело до вооруженного столкновения с США. Это существенно. Пока только мы и они располагаем боеспособным водородным оружием. А мы, с одной стороны, вместе с ними добиваемся нераспространения этого оружия, а с другой стороны, всячески их раздражаем. К чему это? Мы снабдили нашим оружием арабов и подбили их на вооруженное выступление против евреев, а они его позорно евреям сдали. А возьмите Восточную Европу. Мы поддерживаем реакционные тен-

денции в Польше и ГДР и терпим румынские и чехословацкие выбрыки. Где здесь логика? Сами раскалываем социалистический лагерь и плодим только врагов. В Будапеште в свое время хоть силу показали, а сейчас в том же Будапеште? Только что-то невразумительно прошамкали. Беззубость и отсутствие логики неизбежно ведут к хаосу.

ХИМИК: Но ваши партбилетчики, отмежевываясь от руководства, все равно в этой большой политике ничего сделать не смогут!

МАТЕМАТИК: Нет, могут. Ведь нынешнее руководство — на чем оно держится? Не на правильности же и единственности интерпретации марксизма-ленинизма. Над этой претензией давно уже все смеются. Наше руководство держится на военной мощи и на промышленном потенциале. Но ведь и то, и другое — в наших руках: ученых, техников, военных техников. (Обращаясь к хирургу.) Из той относительной келейности, о которой вы говорили, Константин Петрович, мы в один прекрасный день выйдем: блок ядерщиков и военных с партбилетами в нужный момент поставит руководству ультиматум.

ХИРУРГ: Пригрозите бросить атомную бомбу на Кремль?

МАТЕМАТИК: Зачем? Достаточно, если люди в Кремле будут знать, что предлагающие убратся подобру-поздорову практически могут нажать соответствующие кнопки. Ведь мало кто в мире верит в возможность настоящей атомной войны, и тем не менее ничтожнейший шанс даже потенциальной ее угрозы — мощный рычаг политического давления. Просто человек, располагающий ядерным оружием, имеет неоспоримый авторитет. Ему не нужно этим оружием обязательно размахивать, как делал наш сумасбродный Хрущев во время кубинского кризиса. Достаточно вежливо попросить. Упрашивать не придется.

ХИРУРГ: А все же вы говорили об ультиматуме. Обстановка, которая позволит его предъявить, создается не сразу. Ваша схема — схема планомерной подготовки. Правильно ли я понял? Она будет длиться и, уверяю вас, сопровождаться цепью компромиссов. Увлеченные окончательной перспективой (чтобы не сказать — иллюзией) ваши «партбилетчики» принуждены будут идти на временные тактические уступки, чтобы не обострять конфликта преждевременно. Все постепенно и растворится в этих компромиссах. Резкого перелома не будет. «Последний и решительный» будет откладываться до благоприятного момента. Когда, мол, наберем силы. И получится — тех же щей да пожиже влей. По-

этому мне и кажется, что переход к демократии может быть только резкий. Подлинные демократы не выращиваются в теплице и не выпестовываются в атмосфере диктатуры. Они сначала, как грибница, развиваются под землей, чтобы потом сразу выйти на свет как грибы. Но для такого развития почва должна быть напоена живительными соками. Соки эти дают отдельные герои. Они гибнут. Это — вспышки, но они озаряют исключительно ярким светом весь путь. Моральная сила таких людей беспредельно притягательна и именно поэтому...

МАТЕМАТИК: Вы — поэт, Константин Петрович. О какой демократии вы говорите? Уж не о западной ли? Да ведь там всё — ложь и лицемерие. За всеми этими фигурами кукольного театра стоят тресты, монополии или еще что-то иное. Во всяком случае — сила. Она-то и дергает за веревочки. Речь и идет о создании *силы*, а декорумом обзаведемся. Не беспокойтесь.

ХИРУРГ: Вот видите, какое характерное словечко вы употребили — декорум. Это характерно. Поэтому-то я и говорю: и реформа партии, и заговор «партилетчиков» потонут в компромиссах с собственной совестью. Поймите же, что дело идет не о замене одной диктатуры другой, дело идет о морально-духовном перевороте. Для этого нужны люди, открыто бросающие вызов. Они должны стать глашатаями новой иерархии ценностей.

МАТЕМАТИК: Да вы уже говорили о знамени и прочем. Это красиво, но и только. Не в тот век живем. Наш век — век кибернетики.

ХИРУРГ: Как бы ваша кибернетика не привела нас к катастрофе!

МАТЕМАТИК (*иронически*): Когда нас по черепам бить будут? Да что-то вы всё меня страшаете. Владимир Михайлович, не действуйте в обход партийного руководства, иначе хаос, балканизация России и Европы, чуть ли не мировая война. А вы, Константин Петрович, грозите мне кровавой революцией. Я хочу пройти мимо этих Сциллы и Харибды. Знаете, есть такое прекрасное слово — оптимум. Кибернетика и учит нас этот оптимум находить. Здравый смысл, расчет, математика. Вы же апеллируете к иррациональным силам. Владимир Михайлович только их и боится, а Константин Петрович их приветствует и на них делает ставку. Я предпочитаю средний путь — между этими крайностями — и никакого морального ущерба в этом не вижу. А опасности? Помните, как Лев Толстой говорил о произведениях Леонида Андреева: «он пугает, а мне не страшно».

ХИМИК: Мне кажется, что это слишком самоуверенная позиция. Опасности реальны. Как бы мы ни относились к власти, в критические минуты любая власть будет олицетворять нацию, народ. Помните, как во времена войны умирали «за Родину, за Сталина». А в свое время умирали за царя. За него умер Сусанин. И опера-то раньше называлась «Жизнь за царя». Шутить с этим, можно сказать, мистическим авторитетом власти даже кибернетически нельзя. Царя защищали не только помещики и капиталисты, так же, как и за Сталина умирали не только комиссары, но и бывшие концлагерники. Подорвите это — и все может рухнуть, как у нас в семнадцатом году. Разруха и гражданская война — это не мнимые ужасы Леонида Андреева, а подлинная опасность. Разлитое во всем обществе ощущение этой опасности и есть тот краеугольный камень, на котором (и, может быть, только на нем!) и держится нынешнее руководство. Это руководство критикуют, ругают, клянут и даже ненавидят. И все же — не многие из этих людей пойдут за вами, Леонид Семенович. Люди действительно кое-чему научились и повзрослели и поэтому с опаской отнесутся к вашей кибернетической затее. Я говорю даже не о тех, кто не поймут саму идею из-за ее сложности и надуманности; я говорю о тех, кто ее поймет, а понявши, увидит в ней риск подрыва существующего авторитета, без его ощутимой, зримой замены.

ХИРУРГ: Вы только напрасно вспомнили Сусанина и воинов, сражавшихся за Сталина. За Брежнева умирать не будут. Ни при какой погоде.

ХИМИК: А если будет столкновение с Китаем?

ХИРУРГ: Вот как раз прекрасный пример. У нас в прессе изображают Мао как какого-то шута горохового и издеваются над «культурной революцией». Над чем смеются? Вспомним нашу молодость, наших двадцатипятилетних, Магнитку, Комсомольск на Амуре. Было там, конечно, всякое, но был и подлинный энтузиазм. Как ни наивно всё это сейчас кажется, без энтузиазма нет великих дел. И Мао это понимает. А у нас — серость. Что мы можем противопоставить Китаю? Не в смысле техники и оружия, а в смысле горения души? Вы представляете себе этот абсурд: кто поведет нас в бой и против кого? Против поджигателей мировой революции, против непримиримых врагов капитализма, империализма и колониального гнета, против тех, кто за культ личности, за Ленина и за Сталина, против тех, кто поют «мы старый мир до основания разрушим»? И кто будет вести нас

в бой против всего этого? Те, кто сами в душе держатся за каждую строчку этой терминологии, кто ежедневно и еженощно вздыхают по старым, добрым временам, по Сталину и его твердой руке! Фантазмагория! Дичь! Какой тут может быть «мистический» авторитет власти? Если серьезно думать о столкновении с Китаем, этих «мистиков» надо гнать в шею. И живо. Пока не поздно. Надо спешить создавать если и не иную общественную действительность, то по крайней мере ее образ. Чтобы было за что бороться.

Вот вы говорите: демократия — лицемерие. Я употребляю слово демократия за неимением лучшего. Может быть, демократия — всего лишь псевдоним, к тому же опошленный на Западе. Я думаю о человеке, о человекокрапии.

Знаете вы, что такое человек? Вот я — хирург. Лежит у меня на операционном столе грудa тканей, мышц, кровеносных сосудов. Я копаюсь в этой груди. Держу в руках что-то скользкое и окровавленное. Нужно сделать надрез. Рука надавила слишком сильно, скальпель ушел слишком глубоко. И знаешь: сердце остановится. Неминуемо. И занеет тут твое сердце — болью и страхом. Ведь завтра должен будешь заглянуть в чьи-то глаза. А что глаза — кристаллик, роговая оболочка, сетчатка. А в эти чужие глаза должен будешь заглянуть и сказать роковые слова: «сделал всё, что было в моих силах». Или операция прошла благополучно. Наутро приходишь к больному: всё блесит, всё свежо, ветер весенний шевелит занавеску, и смотрят глаза на тебя, на мир; дрожит в них радость счастливого пробуждения, благодарность.

Всё это, конечно, можно перевести на язык медицинских терминов, показаний приборов. Температура — такая-то, пульс — такой-то. Расчленишь, проанализировать, описать, выявить закономерности, подготовить диссертацию. Это — наука. Можно всё объединить, перевести на язык статистики: у такого-то врача такой-то процент смертных случаев, а по району, области, стране — столько-то. Это — тоже наука. А человек-то где? Где человек во всем этом? Ему же ведь должно служить общество. Называйте это, как хотите, но это не то, что у нас есть сейчас, и не то, к чему ведет руководство. К этому вел и Сталин. Вы скажете: преодолели, преодолеваем. Ничего подобного. Ведь на теории винтика воспитали целое поколение. Гноили в концлагерях миллионы. И что же — раскаялись, осудили, предали суду виновных? Вчерашние инициаторы и исполнители этой человеконенавистнической

политики по-прежнему у власти. Выжали из себя, да и то под сурдинку, несколько слов осуждения и топчутся вокруг проблемы культа личности: шаг вперед, два шага назад.

Как можно входить с этими людьми в какую-либо систему взаимоотношений, кроме открытого отмежевания и осуждения?

Вы опять скажете — эмоции! Но ведь из эмоций соткан человек. Удалите из человека эмоции, — и он станет автоматом, машиной. Вот почему мне так чужд ваш, Леонид Семенович, подход. Он стерильный. Вы оперируете не с живым человеком, а с отвлеченным интеллектом, со стерилизованным гомункулусом, получившим степень доктора наук.

Даже если ваша деятельность приведет к успеху, этот успех ни на шаг не приблизит нас к созданию общества, в котором можно будет жить настолько по-человечески, чтобы за это общество стоило и умирать.

Вы все меня попрекаете: мы, мол, живем в век атома, мы живем в век кибернетики. Но человек-то хочет жить в век человека!

ХИМИК: Вы перевели спор в область, в которой трудно спорить. Я едва слежу за ходом вашей мысли. Все это как-то расплывчато. Простите меня, но я чувствую в этом даже что-то демагогическое.

МАТЕМАТИК: Странно и то, что вы сказали по поводу моей позиции: эмоции, эмоции! Человеку дан разум. Его надо употреблять, а не чураться, приписывая ему все грехи и пороки. Право, это смахивает на средневековое мракобесие.

ХИРУРГ: Выходит, что я демагог и мракобес?

ХИМИК: Ну, ну. Давайте лучше прервем наш спор, а то еще наговорим друг другу грубостей.

Май 1968 г.

О правах человека

Права человека — тема, о которой написаны тома и тома, статьи и трактаты, научные исследования и политические памфлеты, холодные абстрактные рассуждения и пылкие эмоциональные произведения. И все же и мы беремся за эту же, столь много обсуждавшуюся, но, очевидно, еще не исчерпавшую себя и не потерявшую актуальности тему.

Естественно, что нас больше всего интересует и трогает положение у нас на родине, в Советском Союзе. Как обстоит дело и формально и по существу с правами человека в Советском Союзе, в «первом в мире государстве трудящихся» с «самым передовым общественным устройством», выражаясь партийной терминологией. Постановка такого вопроса вполне закономерна именно теперь, в 1968 году. Этот год — двадцатая годовщина принятия Организацией Объединенных Наций документа, известного под названием «Всеобщая Декларация Прав Человека*»). Он был принят ООН в 1948 году и согласно своему тексту является обязательным для всех членов Организации Объединенных Наций, в том числе и для Советского Союза. Правительства стран — членов ООН — обязаны соблюдать те нормы прав, которые предусмотрены во Всеобщей Декларации Прав Человека. В связи со всем этим 1968 год объявлен годом «прав человека», что в еще большей степени делает актуальным анализ фактического соблюдения этих прав.

Наиболее наглядно можно провести анализ, сопоставляя права и свободы, декларируемые во Всеобщей Декларации Прав

*) «Всеобщая Декларация Прав Человека», утвержденная и провозглашенная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.

Человека, не столько с практикой в Советском Союзе (практика, могут сказать, всегда в какой-то мере отклоняется от теоретического идеала), а с таким же основным принципиальным документом, с Конституцией Советского Союза, отражающей в несколько идеализированном виде советскую правовую действительность. Такой анализ снимает возможность упрека в необъективности сопоставления теории, никогда полностью не реализующейся, и практики, как всегда не укладывающейся полностью в рамки теоретических построений или требований. Мы будем в нашем анализе предельно объективными, сопоставляя два формальных, обязательных для правительства СССР документа. И только во вторую очередь и в ограниченных размерах будем обращаться к практическим иллюстрациям.

Первые две статьи Декларации Прав Человека ООН гласят:

«Статья 1 — Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.»

Статья 2 — Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.»

Как отражаются эти два пункта в действующей Конституции СССР? Оставляя упоминаемые «все права и свободы» на дальнейшее рассмотрение по пунктам, их конкретизирующим и уточняющим, обратимся только к основному принципу — равенства, независимо от всех национальных, социальных и культурных признаков.

В статье 123 Конституции СССР действительно говорится о равенстве всех граждан:

«Статья 123 — Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом.»

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются законом.»

Уже в этом параграфе прежде всего бросается в глаза чрезвычайная, по сравнению с Декларацией Прав Человека ООН, ограниченность перечня признаков, по которым Конституция в своей статье 123 гарантирует по закону равенство граждан (национальность и раса). Все остальные признаки — религиозные и другие убеждения, политические взгляды, социальное или сословное происхождение, наконец имущественное положение (последнее особенно важно в отношении крестьянства, до сих пор все еще самого многочисленного социального слоя населения СССР) — то ли по рассеянности авторов Конституции, то ли по другим причинам выпали. Но этот текст статьи 123 специально трактует вопрос равноправия граждан СССР. Однако конституция не ограничивается этой статьей по этому вопросу, и мы можем в других ее статьях найти некоторые пояснения или уточнения к этой коммунистической формулировке. Так, в статье 3 Конституции СССР мы находим уточнение в отношении равенства прав на участие в управлении страной:

«Статья 3 — Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.»

Против такой формулы, казалось бы, можно и не возражать, если бы в термин *т р у д я щ и й с я* вкладывалось бы общечеловеческое содержание, то есть занятие любой общественно полезной деятельностью: физической или умственной, исполнительной или творческой, самостоятельным или наемным трудом. Кроме того, надо было бы эту формулу пополнить той категорией лиц, которые по ряду причин, от них не зависящих, — старость, болезнь и т. п., не могут общественно полезной деятельностью заниматься. Но если с последним дополнением дело в СССР обстоит более или менее благополучно, то само понятие *т р у д я щ и й с я* имеет совершенно специфическое коммунистическое, весьма ограниченное значение. Действительно, если обратиться к законодательству и к практике жизни, а в особенности к судебной практике за весь советский период вплоть до наших дней, то станет ясным, что термин *т р у д я щ и й с я* как в конституции, так и в законодательстве в СССР следует расшифровывать только как работающего в каком-либо партийном или государственном учреждении, независимо от общественной его пользы или вреда. Сюда следует включить и работу в псевдокооперативных колхозах и артелях, свободные профессии, которые разрешаются лишь при условии подчинения лиц, ими занимающихся, столь сильной партийно-государственной регламен-

тации и контролю, что само понятие «свободная профессия» становится весьма проблематичным. В результате крестьянин и ремесленник, занимающийся несомненно общественно полезным трудом и удовлетворяющий нужды населения, остающиеся не охваченными социалистическим хозяйством, либо писатель или художник, выходящие в своем творчестве за рамки «социалистического реализма» или «руководящих указаний», немедленно оказываются в числе «тунеядцев», «хапуг», «чуждых элементов», а то и «врагов народа» или «агентов иностранных разведок». На отдельных конкретных примерах не останавливаемся — советская и заграничная пресса дает достаточно наглядного и красноречивого материала.

Но 3-ей статьей дело не ограничивается; дальнейшее уточнение понятия равноправия *по-советски* мы находим в статье 126 Конституции, которая расшифровывает организационные формы, в которых может это равноправие проявляться и осуществляться.

«Статья 126 — В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс, гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.»

Статья эта находится в полном противоречии с принципом равенства, прокламированным во Всеобщей Декларации Прав Человека ООН, но в полном соответствии со смыслом статьи 123 Конституции СССР. Она устанавливает *равенство, независимо от национальности и расы, в дискриминации подавляющего большинства многонационального населения страны*, деля его на две категории: меньшинства — «наиболее сознательных и активных членов КПСС», которым предоставляет право играть роль «руководящего ядра во всех организациях, как общественных, так и государственных», и большинства — всех остальных, очевидно, по мнению творцов этой статьи, недостаточно сознательных для

осуществления своих прав на объединение и всех прочих прав. Отметим особо зафиксированное в статье 3 Конституции право всех трудящихся на участие в управлении государством через избираемых ими депутатов в Советы. Действительно, по статье 126 любой совет, от сельского и до Верховного, являясь организацией государственной, должен иметь «руководящее ядро» членов партии — членов КПСС; без такого «руководящего ядра» совет является не конституционным и поэтому не правомочным. Партия ставится, таким образом, над правительством и над народным представительством.

Статья 126 является краеугольной в смысле разделения всего населения СССР на две категории: полноправных членов партии, являющихся «руководящим ядром», и всех прочих граждан второго сорта, независимо от их национальности и расы, которые в ленинские времена, в тот период, к правовым нормам которого партийная пропаганда призывает возвращаться, назывались без всяких оговорок — «беспартийной сволочью». Документа, именуемого «Сталинской солнечной Конституцией», тогда еще не было, но дух его в ленинском определении всех, не входящих в привилегированный класс членов коммунистической партии, полностью уже сказался. Как видим, за прошедшие 50 лет мало что изменилось. Дополнительной иллюстрацией понимания равенства по-партийному является монополизация понятия совести, правда, отсутствующего в Конституции СССР, но широко используемого в партийной пропаганде. Выражение «Сталин — совесть человечества» раньше, а теперь «партия — совесть человечества» общеизвестны. Всем остальным, вопреки статье 1 Всеобщей Декларации Прав Человека, совесть не положена.

Так обстоит дело с одним из основных положений Всеобщей Декларации Прав Человека, которая утверждает равенство всех, независимо от национальных, расовых, социальных, культурных и прочих признаков. Как же обстоит дело в Советском Союзе с другими правами и свободами, декларированными во Всеобщей Декларации Прав Человека ООН?

Следующим большим комплексом прав и свобод, обычно формулируемым во всех современных конституциях, является право и свобода выражать свое мнение как в устной, так и в письменной форме, как индивидуально, так и в групповой организационной форме. Другими словами, это свобода слова, печати, митингов, демонстраций и т. д. Во Всеобщей Декларации Прав

Человека ООН эти права и свободы сформулированы следующим образом:

«Статья 18 — Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения как единолично, так и сообщая с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных обрядов.»

Статья 19 — Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.»

Эти две статьи включают полностью как свободу совести и убеждений, так и свободу слова и печати, а также свободу использования других современных средств распространения *«слова»* — как радио, телевидение и т. д. Эти статьи можно еще дополнить ссылками на:

«Статью 20, пункт 1 — Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.»

«Статью 27, пункт 2 — Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.»

Очевидно, что собрания и ассоциации могут служить также и для выражения своих взглядов; тут мы еще раз получаем подтверждение права на организации, способствующие реализации свободы слова. В последней же приведенной статье мы наблюдаем закрепление авторских прав, что является подтверждением свободы печати. Отношение как самой Всеобщей Декларации, так и, очевидно, ее составителей к проблеме свободы слова и печати, таким образом, полностью ясно. Как же отражены эти свободы и права в Конституции СССР?

Молчанием они в этом документе не обойдены, им уделено определенное место, а именно:

Статья 124, трактующая о свободе совести — «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.»

Статья 125, посвященная свободе слова, печати и т. д.:

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укреп-

ления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

- а) свобода слова;
- б) свобода печати;
- в) свобода собраний и митингов;
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.»

Первое впечатление от статей Конституции СССР может создаться, что они действительно обеспечивают какие-то права свободы. Вероятно, это и повело к появлению в СССР так называемого «движения 5-го декабря» и организации демонстраций под лозунгом «Уважайте собственную Конституцию». Но это первое впечатление довольно обманчиво: статьи эти обладают той же двусмысленностью, как и весь документ, именуемый «сталинской Конституцией». С одной стороны, имеется формулировка прав или свобод для граждан СССР, но с другой стороны, как правило в иных статьях, а иногда и в той же самой, имеются положения, которые сводят на нет все эти столь громко звучащие статьи и пункты. Так, в статье 124 о свободе совести, после декларативной ее части, вся конкретная часть сводит на нет эту декларируемую свободу совести. Действительно, людям религиозным разрешается только отправлять религиозные культы: ни проповеди, ни исповедания своих религиозных взглядов эта статья не гарантирует, в то время как свобода антирелигиозной пропаганды обеспечена в той же статье. Так зафиксировано в Конституции, в жизни же к этому прибавляются все материальные возможности государства, во главе которого стоит антирелигиозная коммунистическая партия и которое «отделено» от церкви, но не отделено от организаций антирелигиозной пропаганды. И в то же время в системе правительственных учреждений СССР имеется Комитет по делам религий и особо по делам Православной Церкви, что явно противоречит постулату отделения церкви от государства, поскольку эти комитеты являются в условиях СССР практически полными хозяевами положения.

Не менее двусмысленна и статья 125 с декларируемыми в ней правами. Прежде всего во вводной ее части констатируется, что все свободы предоставляются в «целях укрепления социалистического строя»; другими словами, там,

где начинается сомнение (не говоря уж об отрицании) в социалистической системе, в ее разумности или целесообразности, там все декларируемые в статье 125 свободы слова, печати, митингов и т. д. кончаются.

Далее, как логическое развитие этой статьи 125 следует: некто обязан устанавливать, будет ли данное выступление или публикация данной книги и т. д. способствовать «укреплению социалистического строя», другими словами, сам текст статьи 125 Конституции СССР этой фразой в скрытом виде предусматривает наличие *органов предварительной цензуры*. Вторым зафиксированным путем для контроля над свободой слова и печати является все та же статья 126 (о которой мы уже говорили), предусматривающая в каждой организации, общественной или государственной, «руководящее ядро». Но ведь все типографии, которые предоставляются для обеспечения свободы печати, являются учреждениями государственными, а, следовательно, по Конституции, учреждения с руководящим партийным ядром. То же самое можно сказать об учреждениях, фактически ведающих запасами бумаги и их распределением, об учреждениях, ведающих и предоставляющих в распоряжение общественные здания и т. д. Другими словами, все гарантии Конституции являются «липовыми», пользуясь народным выражением, и сформулированы для введения людей в заблуждение и создания ошибочного общественного мнения как о конституции, так и о всем режиме КПСС.

Из-за ограниченного размера статьи мы вынуждены отказаться от подробного анализа других прав, свобод и гарантий, которые якобы дает Конституция СССР своим гражданам. Сюда относятся гарантии неприкосновенности жилища, неприкосновенности личности, тайны переписки и т. д. В виде небольшой иллюстрации, вскрывающей цену этим гарантиям, можно привести статью «Граница на... почтамте» («Комсомольская правда» от 28 мая 1968 г.), в которой сообщается о контроле и изъятии писем, производящемся на таможне при московском почтамте.

Теперь остановимся более подробно на одном элементе Конституции, который в нормальных условиях должен являться гарантом подлинной демократичности государственного устройства и его правовой сущности. Мы говорим о статьях Конституции, трактующих об устройстве судов, принципах судопроизводства и положении судей.

Основным моментом при этом является обеспечение незави-

симости судей от административных органов управления, от нажима тех или других заинтересованных в исходе дела лиц или групп, некомпетентного общественного мнения, прессы и т. д. Суд должен быть независимым, компетентным и в должной мере защищен от посторонних влияний.

Упомянем, что одним из путей обеспечения независимости является система суда присяжных, назначаемых на каждое судебное дело особо, по системе, исключающей составление коллегии присяжных заседателей из лиц либо заинтересованных, либо зависимых. Практическими мерами этого является достаточно высокая численность, например, 12 человек, а также назначение присяжных заседателей из круга лиц на то выбранных по принципу жеребьевки. Эти принципы, в частности, осуществлялись в русском предреволюционном суде, после судебной реформы при Александре II в 1864 году. Только при таких условиях были возможны процессы, как, например, Веры Засулич, с вынесением оправдательного приговора, и им подобные. Возвращаясь к Конституции Советского Союза, мы находим там тоже статьи, посвященные независимости суда, так:

Статья 112 гласит:

«Судьи независимы и подчиняются только закону.»

Статья 111 гласит:

«Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.»

На статьях, трактующих о формировании суда, мы подробно не останавливаемся, отметим только, что все суды, кроме низового уровня (районные), назначаются соответственными советами депутатов; только районные судьи избираются прямыми выборами на пять лет, а народные заседатели сроком на два года.

Насколько эта система может обеспечить и фактически обеспечивает требования независимости, гласности и компетентности суда? Те требования, которые во Всеобщей Декларации Прав Человека ООН отражены следующим образом:

«*Статья 8* — Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных конституцией и законом.

Статья 9 — Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10 — Каждый человек, для определения его прав и

обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11 — Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.»

Сопоставляя приведенные выдержки из этих двух документов, прежде всего мы видим, что признание за обвиняемым права на «доброе имя», так называемая «презумпция невиновности» в Конституции СССР вообще не упоминается. В практике же судебной Советского Союза, несмотря на идущую уже в течение лет на страницах прессы дискуссию о «презумпции невиновности», такая полностью отменяется. Все решает вопрос партийной, политической целесообразности; и если она того требует, то на обвиняемого, еще задолго до суда, даже до окончания следствия, на страницах прессы и на собраниях выливаются потоки обвинений, клеветы и требований наказания как бы уже доказанных его преступлений. Допускается то, что недопустимо даже в отношении осужденного преступника. Причем все это было уже в первые периоды существования диктатуры, при Ленине (РКП и его ЧК); это было и в период неограниченной власти Сталина (ВКП(б) с его ОГПУ-НКВД); это осталось в том же положении и в послесталинский период при Хрущеве, а затем и при Брежнев-Косыгине с их КГБ. На примерах не останавливаемся. Кто читает газеты, издающиеся в СССР, тот знает их в достаточном количестве. Имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит.

Но не лучше обстоит дело с независимостью судей и с правом на защиту. Напомним, что весь суд как система является организацией государственной, а следовательно, по букве и духу статьи 126 он должен иметь «руководящее ядро членов КПСС»; поэтому статья 112, говорящая об этом, полностью аннулируется статьей 126 (о руководящем ядре). В такой же мере это относится и к праву на защиту. В качестве защитника на суде в СССР может выступать только член Коллегии Защитников, то есть член государственно-общественной организации, имеющей, по статье 126, руководящее партийное ядро; таким образом, и защитник должен отражать требования того же партийного ру-

ководящего ядра, как и «независимый суд» и как государственная прокуратура. Круг замыкается, и статьи конституции гарантируют выполнение партийных требований судом.

Отметим, что это, конечно, не исключает возможности появления как в коллегии защитников, так и (в виде особого исключения) среди судей отдельных личностей, способных выступать с собственным мнением и вопреки указаниям «руководящего ядра», и действовать согласно указаниям своей совести. Такие отдельные случаи судебных процессов известны, однако, они не меняют общей картины, которую можно охарактеризовать коротко: узаконенное бесправие.

Каковы же выводы из всего вышесказанного?

Естественно, что далеко не во всех странах полностью осуществляются все требования, права и гарантии Всеобщей Декларации Прав Человека. Столь же естественно, что там, где система законодательства, а то и сложившиеся веками обычаи не отвечают этим требованиям, требуется большая и длительная работа по общей перестройке. Но столь же очевидно, что все страны-члены ООН, подписавшие Всеобщую Декларацию Прав Человека ООН или вступившие в эту организацию уже после принятия ее, должны проявлять по меньшей мере добрую волю и стремление к совершенствованию своего законодательства в указываемом Декларацией направлении, чтобы приблизиться в результате к тому, что сформулировано в одной из последних статей этого документа:

«Статья 28 — Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.»

Однако в Советском Союзе мы, при всем желании, не можем обнаружить со стороны КПСС, осуществляющей согласно сталинской (и поныне действующей) Конституции роль «руководящего ядра» во всех государственных и общественных организациях и несущей за страну полную ответственность, таких усилий или хотя бы даже только попыток — ни в настоящем, ни в прошлом.

Положение кажется безвыходным: Конституция СССР делает Декларацию нереальной и не реализуемой. Но это лишь кажущаяся безвыходность. В действительности в той же Всеобщей Декларации Прав Человека содержится выход из создавшегося тупика.

В третьем пункте вводной части Декларации, в обосновании необходимости принятия этого документа, мы можем прочесть:

«Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения;»

Всеобщая Декларация Прав Человека принята для того, чтобы сформулировать те права, соблюдение которых освобождает человека от необходимости восстания против тирании, попирающей эти права. Но в том случае, когда тирания продолжает их попираť, очевидна необходимость и оправданность восстания против нее. И выход следует искать именно в этом направлении — восстании против тирании и угнетения. Такого положение в СССР, где имеется безраздельная диктатура или тирания КПСС, присвоившей себе роль «руководящего ядра».

Там, где путь эволюции закрыт, заблокирован «руководящим ядром», там оно должно быть устранено путем революции. История учит, что другого пути нет.

Крест над Суругадайским холмом

К столетию проповеди Православия в Японии

Редакция «Граней» приносит извинения своим читателям: очередной очерк из серии «К столетию проповеди Православия в Японии» печатается после большого перерыва (см. очерк «Первые православные японцы» в № 51 и очерк «Очаг православия в Хакодате» в № 53 нашего журнала). Печатание дальнейших очерков откладывалось из-за поступления большого количества рукописей актуального характера из России.

Следует, быть может, напомнить нашим читателям, что в своем очерке о первых православных японцах автор приводил сведения о японцах, попадавших в Россию в XVIII веке. Некоторые из них были привлечены по почину Петра Великого к созданию в России школы японского языка для русских. Принимая российское гражданство, большинство этих японцев крестилось.

Очерк об очаге православия в Хакодате был посвящен событиям, связанным с прекращением политики самоизоляции Японии и учреждением российского консульства в Хакодате. При консульстве была создана первая христианская церковь в современной Японии. После того как вынужден был вернуться в Россию престарелый протоиерей Василий Махов, в Хакодате в 1861 году был направлен иеромонах Николай Касаткин — впоследствии архиепископ, основоположник Православной Церкви Японии, которая теперь насчитывает около 35 тысяч членов. В 1868 году, ровно сто лет назад, о. Николай крестил первых троих японцев. А в 1870 году была учреждена Российская духовная миссия в Японии, которую возглавил о. Николай. Центр ее деятельности был уже не в далеком Хакодате на острове Хоккайдо, а в новой императорской столице — Токио. О первом периоде деятельности о. Николая в Токио рассказывает очерк, помещаемый в этом номере «Граней». Работая над своими очерками, автор пользовался документами и редкими книгами, хранящимися в библиотеке Св. Воскресенского собора в Токио, в личном архиве высокопреосвященного Ириней, митрополита Американского, и в библиотеке Университета Св. Софии в Токио.

1

Уезжая в 1869 году в Россию, иеромонах Николай разослал своих первых катехизаторов и наиболее активных деятелей созданного ими в Хакодате круга слушателей и последователей православной проповеди в разные стороны на проповедь. Эти двадцать примерно человек успели привлечь к себе внимание местных властей, которые получили за некоторое время до этого указ нового правительства, подтверждавший запрет японским гражданам принимать христианскую веру. Катехизаторам грозила опасность, степень которой было трудно определить. Во всяком случае, им угрожала тюрьма, а в случае упорства, быть может, и смертная казнь, предусматривавшаяся старыми, не отмененными пока антихристианскими законами.

Чтобы избавить их от этой участи, о. Николай снабдил их книгами и разослал на время своего отсутствия на проповедь, впрочем не питая больших надежд на успех этой миссии. Иеромонах Николай писал:

«Целью их путешествия, кроме ближайшей — скрыться от опасности, поставлено ещё то, чтобы они хорошенько разузнали везде направление умов, постарались найти людей, нужных для нашего дела и, наконец, если можно, положили бы по местам хотя начатки христианских обществ. Но всё это на всякий случай: в глубине души я очень мало питаю надежды на их успехи, пусть бы хоть сами остались целы, да не компрометировали себя» ¹⁾.

Но вернувшись в марте 1871 года в Хакодате, архимандрит Николай мог убедиться в том, что брошенные им семена за время его отсутствия не только не заглохли, но и начали давать некоторые всходы. Павел Савабэ и Иоанн Сакай успешно проповедовали Евангелие в городе Сендай, используя для этого загородные прогулки в горы. К концу года архимандрит Николай крестил одиннадцать человек, среди них — Иоанна Оно, знаменитого впоследствии проповедника православия в Японии. Маленькая православная община уже могла выделить из своей среды семерых катехизаторов. Четверо, во главе с Павлом Савабэ, продолжали работать в Сендай, а трое возобновили проповедь в Хакодате.

Но священник Григорий Воронцов, назначенный помощником архимандрита Николая, тяжело заболел еще по пути в Японию и, не пробыв в Хакодате и трёх месяцев, вернулся в Россию.

¹⁾ «Христианское чтение» № 1, 1869 г.

На его место в декабре 1871 года прибыл иеромонах Анатолий (в мире Александр Дмитриевич Тихай).

Отец Анатолий, родом из Хотина (Бессарабия), был на два года моложе архимандрита Николая. Он провёл несколько лет на Афоне, а затем окончил Киевскую духовную академию. Прибыв в Японию, он перенял от о. Николая стан миссии в Хакодате, св. Воскресенский храм при консульстве, только что оборудованную привезенным из России станком типографию, и вскоре создал здесь христианское начальное училище, возглавляемое одним из катехизаторов-японцев. Значительно позже о. Анатолия перевели в Токио — настоятелем церкви при российском посольстве. Он успешно проявил себя также на поприще преподавателя в катехизаторских школах в Токио и Осака. По болезни о. Анатолий в 1890 году вынужден был вернуться в Россию и скончался в сане архимандрита в ноябре 1893 года. Православные японцы соорудили в его память крест в Воскресенском соборе в Токио.

Передавая налаженное дело в Хакодате о. Анатолию, архимандрит Николай мог подумать о перенесении своей собственной деятельности в новую императорскую столицу — Токио. Для обследования положения он послал туда сначала Павла Савабэ, который сообщил о. Николаю, что условия для проповеди — самые благоприятные. В январе 1872 года о. Николай морем выехал из Хакодате в Иокогама, а оттуда 4 февраля перебрался в Токио.

Город ещё не был вполне открыт для иностранцев. Селиться они могли только в небольшом особом районе — «концессии». Архимандрит Николай долго не мог найти себе квартиры. Ютился ночью у знакомого англичанина, а днём бродил по городу, всё изучая, со всем знакомясь.

За несколько лет до этого о. Николай в свите русского консула, ездившего представляться сёгуну, уже побывал в Токио. Посольство охранялось сильным конвоем, домой каждый раз возвращалось другой дорогой, так как приходилось считаться с возможностью нападения какого-нибудь самурая с его челядью.

Теперь о. Николай бродил по узким улочкам города один, обращая на себя внимание своим огромным ростом, чуть ли не вдвое бóльшим, чем рост среднего японца, и священнической рясой. Никакой вражды к себе со стороны простого народа о. Николай не испытывал. Раз как-то о. Николай остановился что-то купить в лавчонке, и его обступила толпа народа, бурно его приветствуя. Он заговорил с народом по-японски, и... быстро нашлась для него и квартирка. Правда, она была крошечная, состояла из комнаты и чуланчика и помещалась на чердаке. Здесь-то и на-

чал свою (всё ещё «противозаконную») проповедь в Токио о. Николай.

Главным тормозом по-прежнему оставалась материальная нужда миссии. Жалование миссионеров было каплей в море. Приходилось содержать семьи чиновников, уволенных за принятие христианства со службы, содержать катехизаторов, принимать и кормить приезжавших из провинции слушателей проповеди о. Николая (как иностранцу ему самому в провинцию ездить по-прежнему не разрешалось). Считать приходилось каждую копейку.

В своих письмах периода 1871-72 годов в Россию архимандрит Николай редко касался вопроса о материальных нуждах миссии, но уж если писал, то писал так:

«Давно я получил Ваше письмо и простите, что до сих пор не отвечал. Да и что отвечать? Кричать о помощи — одно, что я могу писать в Россию ко всем нашим друзьям, — и я кричал, и к Вам верно доходил мой голос, так как писать о нуждах, о каждой отдельно и каждому порознь — только сердце надрывать да время терять, да Вам всем надоедать, и тем лишать себя всякой надежды на устранение нужд. Лучше всем разом, хоть и реже... Утешите ли миссию? Прошлогодние нужды ни одна не устранена ещё, а новых, еще важнейших,росло вдвое с тех пор как миссия с моим переездом в Едо ²⁾ разделилась на два стана... Жара теперь, Боже, какая жара! Перестать работать конечно нельзя, не об этом и речь; и утром до полудня и вечером с 5 часов человек 20-30 имеют полное право приходить выслушивать уроки Закона Божия. Но куда приходить? Моё жилище — одна комната на чердаке; высота комнаты такая, что человеку такого роста едва можно стать во весь рост. Разочтите, сколько воздуха в таком жилье. И в нём, однако, происходит катехизация 20 человек. К счастью ещё два окошка — наискосок одно от другого; если благотворительная природа посылает ветерок, то и ничего. А нет течения воздуха — духота нестерпимая. Внимание с трудом связывает мысли. И слушателям плохо: бедные усердствуют слушать новое учение, аккуратно приходят, работают веерами, чтобы освежить лоб и возбудить движение мысли. Что делать? прекратить катехизацию пока жара спадёт? Да ведь жара спадет — начнутся дожди, потом холод; благодетельные окна придется затворить и будет та же самая духота ...Многие Христом Богом просят крещения, а я не могу крестить их, потому что негде...»³⁾

Не раз приходилось о. Николаю с горечью сравнивать без-

²⁾ Едо, Иеддо или Эдо — старое название города Токио.

³⁾ «Православное обозрение», 1874 г., февраль.

денежье православной миссии с громадными средствами, которыми располагали католические, англиканские и протестантские миссионеры:

«Не заболит ли у вас сердце при виде того, как другие опережают вас везде и во всём, опережают потому, что у них есть средства, а у нас их нет? Не заноет ли у вас грудь, при виде того, как инославные миссионеры по всем провинциям рассылают своих катехизаторов, а у вас нет денег, чтобы отправить их хоть в те места, где прямо желают слушать православного проповедника? Не вырвется ли у вас с глубоким стоном: «О, Господи!» — когда к вам приступают с просьбами со всех сторон дать или прислать православных книжек, а вы не имеете, что дать, и в то же время видите, как инославные книжки горами расходятся по стране ...Вон у тех блестят кресты на храмах, звучно поют колокола. И нам бы нужен храм, говорят наши бедные птенцы. Авось и у нас скоро будет: пришлют же ведь из России!? ...Пришлют, пришлют! Всё основано у нас на этом дорогом для нас слове» ⁴⁾.

Но, быть может, именно благодаря нищете православной миссии вокруг неё и стали группироваться такие искренние и жертвенные люди. Успехи двух нищих православных миссионеров в тот период почти не уступали успехам богатых людьми и деньгами миссий других исповеданий. Сам о. Николай в 1869 году еще писал:

«Характеристично для православия в Японии то, что православная миссия, всего 8 лет существующая, при двух постоянных за это время миссионерах, без всяких определенных материальных средств, числом христиан уже вдвое сильнее, чем католическая и все протестантские миссии, взятые вместе, несмотря на то, что католическая и протестантская миссии, более 20 лет, как основаны в Японии, что у них сотни миссионеров и миссионеров и неистощимые материальные средства»⁵⁾.

Другой характерной чертой православия в Японии можно назвать то, что

«православие распространяется главным образом среди беднейшего класса японцев. В Японской православной Церкви аристократии чрезвычайно мало, богатых купцов, зажиточной интеллигенции, крупных землевладельцев не было с самого начала, нет почти и теперь. Отсюда именно исходит и чрезвычайная бедность православной японской церкви»⁶⁾.

⁴⁾ Там же.

⁵⁾ «Древняя и Новая Россия», 1869 г.

⁶⁾ Димитрий Позднеев, «Архиепископ Николай Японский», СПб, 1912 г.

2

Хотя о. Николай и старался до поры до времени сдерживать ревность новообращенных японских христиан, чтобы не подвергать их опасности, ему это плохо удавалось, и на юные православные общины обрушились притеснения и гонения.

14 ноября 1871 прибыли катехизаторы (вторично) в Сендай, устроили временную церковь в доме Иоанна Оно и приступили к проповеди, которая начала привлекать слушателей и из окрестных деревень. Власти забеспокоились, тем более, что проповедники, как уже отмечалось, все принадлежали к бывшему самурайскому сословию и их можно было заподозрить в попытке восстановить сёгунат.

13 февраля 1872 года полиция города Сендай арестовала Павла Савабэ и около сорока его последователей. Петр Сасагава, оказавшийся, когда за ним приходили, вне дома, сам явился в губернское управление и заявил, что он — христианин. Иаков Такая, находившийся в пути, спешно вернулся в Сендай и также добровольно явился властям, заявив на допросе, что готов умереть за истинную веру.

Вскоре общее число арестованных православных достигло 140 человек. Семьи Оно, Сасагава и другие были арестованы от мала до велика. На свободе были оставлены лишь дети моложе 6 лет. Дети 10-12 лет подвергались допросам, причем поражали следователей своими ответами. Среди арестованных было много «оглашенных», над которыми еще не было совершено таинство крещения, но и из них никто не отрекся от своей веры. По словам о. Николая, «врагам Христа не было утешения слышать ни даже от жен и малых детей ни одного слова слабодушия или боязни при исповедании Христа»⁷⁾.

Наиболее «опасных», с точки зрения властей, арестованных, в том числе и Павла Савабэ, заточили в сырое подземелье. Многих на допросах подвергали побоям и глумлению, но случаев смертной казни за исповедание православия не было.

Начались гонения и в Хакодате. На Пасху того же 1872 года в Воскресенской церкви при консульстве собралось около 30 человек православных японцев и несколько десятков человек некрещеных. Колокольный звон привлек много местных жителей, пользуясь чем катехизаторы объясняли собравшимся христианс-

⁷⁾ «Православное обозрение», 1874 год, февраль.

кое вероучение, а наиболее внимательных приглашали для более подробной беседы к себе на дом.

Узнав об этом, губернатор Курода заключил катехизаторов в тюрьму или в крепость, всех чиновников, принявших православие, уволил со службы и всех вообще православных велел выселить из города Хакодатэ. Миссия, уже успевшая наладить издательское дело и типографию, лишилась десяти сотрудников, и ее издательская деятельность временно прекратилась. Губернатор направил в министерство юстиции ходатайство о строгом наказании «преступников».

Архимандрит Николай, уже находившийся в Токио, был извещен о событиях в Хакодатэ и Сендай телеграммами. Вскоре к нему прибыли также свидетели гонений в Сендай. О. Николай написал Павлу Савабэ письмо в тюрьму, хваля за проявленную стойкость и ободряя его. В то же самое время о. Николай, вместе с избежавшим ареста и прибывшим в его распоряжение Иоанном Оно начал через европейских послов (российского посольства в Токио в то время еще не было) хлопотать об освобождении заключенных. Вследствие энергичных действий послов японское правительство отдало приказ об освобождении православных. 1 мая были освобождены верующие, арестованные в Хакодатэ, а 28 мая — и в Сендай.

В Хакодатэ дело этим, однако, не кончилось: главных деятелей православной общины местные власти всё же выслали из города и запретили им проповедь. Никто из них, конечно, проповеди не прекратил, а некоторые даже взяли на себя риск новых неприятностей и нелегально вернулись в Хакодатэ, чтобы продолжать здесь свою деятельность.

Иоанн Сакай, в мае 1873 года вернувшийся из Токио в Хакодатэ, в январе 1874 года снова подвергся аресту и высылке. Его несколько раз арестовывали и позже, хотя начальник тюрьмы и рапортовал губернатору, что «Сакай в тюрьме, пользуясь свободным временем после работы, проповедует христианство заключенным. На работах вне тюрьмы тоже проповедует. Поэтому заключение его в тюрьму бесполезно».

О последствиях гонений в Хакодатэ и Сендай о. Николай писал в Россию:

«Как только наши христиане, бывшие в тюрьме, выпущены на свободу..., вдвое большее количество новых лиц притекло с желанием узнать Христа... Господь попустил нам испытать гонение, но набежавшая туча уже пронеслась мимо. И как гроза оживляет красоты природы, так минув-

шее испытание воспламенило ещё больше и без того полные ревности сердца чад Христовых... Какая бесценная рабочая пора!.. В Сендай бы теперь! Более сотни верующих жаждут там святого крещения. В Эдилею бы теперь, в Осаки бы теперь; везде сочувствующие нам, везде жаждущие нас, везде дело живое, животрепещущее, везде зачатки жизни полной, горячей, глубокой... Вот в сегодняшний вечер, занятый письмами, замедлил катехизацией — и трое уже один за другим приходили и, кланяясь в землю, просили говорить о Христе. Какой труд для Бога не венчается успехом?»⁸⁾.

3

«Труд для Бога» архимандрита Николая начал приносить плоды. Дело разрасталось.

Был найден участок, владение графа Тода, на холме Суругадай — самой высокой точке центральной части Токио, который владелец его согласился уступить православной миссии в бессрочную аренду. 3 сентября 1872 года о. Николай переселился на новый участок, на котором стояло несколько ветхих домиков, открыл здесь школу русского языка и катехизаторскую школу, в которых сам и преподавал, не прекращая своей проповеди, своих административных хлопот и своих переводов.

Начала отца Николая, по его собственным словам, «утешать и матушка-Россия». Адмирал Е. В. Путятин передал в распоряжение о. Николая собранные им 32.000 рублей, на которые в 1873 году было построено большое здание миссии с домовою церковью, классами и дортуарами школы катехизаторов. На средства дочери адмирала О. Е. Путятиной и графини Орловой-Давыдовой была открыта женская школа на сто учениц. Была учреждена шестиклассная (впоследствии семиклассная) семинария. В катехизаторское училище с двухгодичным курсом обучения поступали молодые люди восемнадцати лет, люди среднего возраста и даже шестидесятилетние старики, решившие посвятить себя проповеди слова Божия.

12 июня 1875 года православные японцы, которым архимандрит Николай предложил избрать кандидатов для рукоположения в духовный сан, выбрали для посвящения в сан священника бывшего жреца Павла Савабэ, а его друга — врача Иоанна Сакай — для посвящения в диаконы. Рукоположение их совершил Павел,

⁸⁾ Там же.

епископ Восточно-Сибирский и начальник Камчатской миссии, в Хакодате.

В 1878 году владыка Павел рукоположил во Владивостоке диакона Иоанна Сакай и четверых других кандидатов, выдвинутых православными японцами за год до этого, в священнический сан. Интересно отметить, что все шесть первых японских священников принадлежали к прежнему самурайскому сословию (кланов Нанбу и Сендай) и обладали классическим японским военным воспитанием и конфуцианским образованием.⁹⁾

В провинции в это время уже работало 27 катехизаторов и 51 катехизатор-помощник. Отчёт обер-прокурора Синода за 1878 год отзывается о них:

«Эти благовестники веры проникнуты духом апостольской ревности по ней. С непоколебимым мужеством они переносят все лишения, неизбежные при их служении, и с полным самоотвержением претерпевают все преследования и опасности, которым подвергаются со стороны буддийских бонз и возбуждаемых ими фанатиков-буддистов».

С какими проблемами молодым японским катехизаторам приходилось сталкиваться, можно проиллюстрировать на примере трагической судьбы коренного населения Курильских островов, уступленных в 1875 году Россией Японии. Родственные сохранившимся и до наших дней на Сахалине и на Хоккайдо айнам, курильцы или куру, как они сами себя называли, получали русское школьное образование, говорили по-русски, были православными.

Японское правительство не захотело оставлять куру, сохранявших духовные связи с Россией, в их родных местах — главным образом они жили на острове Шумшу — в непосредственной близости Камчатки. Всех куру, бывших российских подданных, переселили на почти необитаемый до тех пор островок Сикотан у северного берега Хоккайдо, запретив им выезд с острова. Началось срочное «объяпонивание» куру, в процессе которого была предпринята также попытка совращения их в буддизм. Учёный буддийский бонза из секты Монтосюу провел на Сикотане несколько лет, но его проповедь никакого успеха не имела. Тогда он взял с собой двух молодых куру и повёз их в Киото и другие центры буддизма, знакомя их с важнейшими кумирнями и другими буддийскими учреждениями Японии. Молодые куру воспользовались своим приездом в Токио, сумели связаться с православной миссией и сообщить о. Николаю о положении, в какое они

⁹⁾ Профессор Симеон Ивама, Краткий очерк истории Японской православной церкви с 1861 по 1954 год, (Рукопись).

попали. Куру заявили о. Николаю, что никто из них, попав на Сикотан, от православной веры не отступил и не отступит. Архимандрит Николай отпустил их, снабдив их целой библиотекой изданий православной японской миссии. Вскоре на Сикотан был командирован священник Тит Комацу с переводчиком Алексеем Савабэ (куру еще плохо говорили по-японски, а о. Тит слабо владел русским языком). Катехизатор Саито Ракуу переселился на Сикотан и стал постоянно жить среди куру. Когда о. Тит Комацу впервые приехал с Сикотана в Токио с докладом, о. Николай, слушая его повесть о бедственном положении куру, не мог удержаться слёз и молча плакал. После этого по всей японской церкви был начат сбор пожертвований в пользу сикотанских куру, и эта маленькая община влилась постепенно в японскую церковь. Православная община на острове Сикотан просуществовала по видимому, вплоть до оккупации в 1945 году этого острова советскими войсками и высылки всех японских граждан, к которым принадлежали и потомки куру, в Японию.¹⁰⁾

В 1879 году Синод, ввиду проявленной православной миссией в Японии жизнеспособности, счёл необходимым образовать из неё самостоятельную епархию. Архимандрита Николая вызвали в Петербург. 27 марта 1880 года он был хиротонисан во епископа с наречением титула «Ревельского и Японского»¹¹⁾

Из Петербурга епископ Николай привёз с собой нового регента для миссийского хора — Димитрия Константиновича Львовского, который начал помогать прежнему регенту, а затем полностью перенял всю колоссальную работу по перенесению на японскую почву русской духовной музыки.

Первым регентом был Яков Дмитриевич Тихай — родной брат упомянутого нами выше архимандрита Анатолия. Тихай получил музыкальное образование в регентских классах при императорской придворной певческой капелле в Петербурге. В 1874 году о. Николай и о. Анатолий выписали его в Японию на свои личные средства. Я. Д. Тихай не только начал работать над создани-

¹⁰⁾ Основные факты переселения куру на Сикотан и их борьбы за сохранение православной веры изложены Димитрием Позднеевым в его упомянутой нами выше книге.

¹¹⁾ «Церковный Вестник», № 14 за 1880 год. По традиции того времени, епископам Русской церкви, возглавлявшим миссии, подворья или приходы за границей, присваивались титулы викариев митрополита Санкт-Петербургского, с соответствующими номинальными кафедрами в петербургской епархии.

ем правильного хора и преподавать музыку во всех учебных заведениях миссии, но и положил основание переложению православных песнопений на японский язык, с приспособлением к особенностям японского языка и произношения. Я. Д. Тихай, женившийся через два года после своего приезда в Японию на японке, а в 1883 году, после передачи руководства миссийским хором Д. К. Львовскому, перешедший в посольскую церковь в Токио, переложил на японский — причем не с русского, а с китайского — обиходногоголосного пения всенощного бдения, литургии и треб. Эту работу он проводил до 1885 года, когда он покинул Японию.

Д. К. Львовский, впоследствии протодиакон владыки Николая, прибыв в Японию, сразу же приступил вместе с Тихаем к переложению и аранжировке дальнейших песнопений. Ими совместно был издан обиходногоголосного пения праздничной и пасхальной служб. После больших усилий им удалось наконец создать четырехголосный хор, для которого они написали четырехголосное изложение всенощного бдения, а затем и литургии и треб.

По мере развития хора, ставшего со временем едва ли не лучшим хором Японии, Львовский постепенно перелагал всю «классику» русского церковного репертуара XIX века, преимущественно петербургского.

Эту его работу в 1924 году возобновил и блестяще завершил Виктор Александрович Покровский, воспитанник знаменитых казанских регентов начала XX века, внесший соответствующую «казанскую ноту» в напевы, вошедшие с тех пор в традиционный фонд японской церкви. В. А. Покровский оставался на японской церковной ниве до сентября 1961 года.

В период деятельности Тихая и Львовского одно время при миссии существовала духовно-музыкальная школа, благодаря которой и был создан миссийский хор в составе 150 певцов. По-видимому, это было вообще первое в Японии частное музыкальное училище, где преподавалось пение¹²⁾. После долгих усилий Львовскому удалось настолько подготовить одного из своих учеников — Киса Каносин, что владыка Николай смог командировать его в Петербург для прохождения курса консерватории. После возвращения в Японию Киса был назначен помощником Львовского.

Переложение для исполнения на японском языке русских песнопений ставило перед Тихаем и Львовским исключительные трудности. Японские тексты приблизительно в полтора раза длин-

¹²⁾ См. упомянутую выше рукопись проф. Симеона Ивамаэ

нее славянских, и всё построение предложений в японском языке диаметрально противоположно русскому. И если обязанность так или иначе «справляться» с длиной текстов ложилась на Тихая и Львовского, то ответственность за смысловую правильность переложений брал на себя сам владыка Николай, уделявший вопросу создания хоров и разработки адекватного репертуара православных музыкальных произведений на японском языке самое пристальное внимание.

Хор родился в «эпоху Архангельского» и сохранил верность ему до наших дней, исполняя и такие его произведения, которые давно позабыты большинством других хоров. Поёт современный соборный хор и Чайковского, и Чеснокова, и Кастаньского, и Смоленского. Старинных русских распевов — не услышишь. Да разве можно ожидать от японских певцов понимания напевов, связанных именно с Россией, с её историей и культурой прежних веков? Традиционным «стилем» для православия в Японии, по-видимому, навсегда станет стиль Архангельского-Львова в музыке, Васнецова-Нестерова в живописи, — стиль эпохи первых всходов православия в Японии, стиль эпохи владыки Николая — апостола Японии.

5

Годы между хиротонией епископа Николая (1880) и началом Русско-японской войны (1904) — период самого бурного роста Японской православной церкви.

Число крещаемых в этот период ежегодно достигает 1.000 человек. Максимальное число обращений было отмечено в 1888 году — 2420 человек. Эта цифра упала до своего минимума (658 человек) в первый год Русско-японской войны.

Если по состоянию на 1884 год общее число православных японцев определялось в «почти 10.000 человек», то в 1904 году оно составило уже 28.597 душ. К 1 января 1910 года Японская православная церковь насчитывала 31.538 христиан обоего пола.

В 1904 году Японская церковь располагала 28 священниками, 7 диаконами, 151 катехизатором и 12 причетниками.

Продолжала «утешать» епископа Николая потоком всё более щедрых пожертвований и «матушка-Россия», что позволило ему совершить в 1884 году на вершине холма Суругадай закладку величественного Воскресенского собора — главного храма Японской православной церкви и одного из выдающихся архитектур-

ных сооружений Японии и всего Дальнего Востока, как отзывались о соборе современники его постройки.

Площадка на вершине холма оказалась недостаточно обширной. Пришлось делать насыпи, расширяя территорию холма. Всё внимание своё епископ Николай обратил на то, чтобы построить храм так, чтобы он мог не бояться ни землетрясений, ни пожаров. Владыка Николай писал жертвователям, что с точки зрения инженерной техники того времени действительно всё было предусмотрено:

«Храм сей для охранения молящихся в нём предан в волю Божию после того, как с человеческой стороны сделано, по мере сил и способов, всё возможное в ограждение от этого страшного и непредвидимого меча — землетрясения»¹³⁾.

На сооружение одного лишь фундамента было истрачено 50.000 рублей. Стены и арки строили более пяти лет. Не было в постройке ничего рассчитанного на роскошь, но всё было твёрдо и капитально. Строился собор по планам петербургского профессора архитектуры Михаила Арефьевича Шурупова. Образа для иконостаса (погибшего впоследствии при страшном землетрясении и пожаре всего Токио в 1923 году) написал в Петербурге придворный иконописец Василий Макарович Пешехонов.

На постройку здания собора потребовалось около 300.000 рублей и около 200.000 рублей на его внутреннее устройство и оборудование.

О том, какие средства поступали и из каких источников, красноречиво свидетельствуют записи, сделанные рукой самого епископа Николая и напечатанные в качестве факсимиле в специальном иллюстрированном сборнике с описанием собора, изданным Японской церковью ¹⁴⁾:

«Мария Иосифовна Романова, жена купца в Москве, и её брат Иоанн Иоаннович Павлов, московский купец, пожертвовали Японской православной церкви серебряный вызолоченный, с чеканными священными изображениями сосуд для св. Мира, в 1880 году. Высота сосуда 1 арш. 2 вершка...

Феодор Никитич Самойлов, московский купец, пожертвовавший на построение Собора Воскресения Христова в Токио 50 тысяч рублей, заключил свои дары Собору серебро-позлащенным с эмалевыми украшениями кивотом на престол. Высота кивота 1 арш., 2 вершка, 5 линий...

Камергер Его Величества Российского Императора Юрий Стефанович

¹³⁾ Прибавление к «Церковным Ведомостям», № 14-15, 1888.

¹⁴⁾ Собор Воскресения Христова в Токио, Издание редакции журналов и книг Японской православной церкви, Токио, 1905 г.

Нечаев-Мальцев пожертвовал серебряную вызолоченную утварь и все священные предметы для трёх алтарей Собора в 1892 году...

Гавриил Матвеевич Комаров, московский купец, пожертвовавший на построение Собора... 8 тысяч рублей, в заключение прислал Собору серебро-позлащенный крест высотой в 11 вершков...»

Список этот можно было бы значительно продолжить. Одна Москва дала на постройку собора 200.000 рублей или 40% общей суммы. Упомянем здесь, что дочь адмирала Путятина, Ольга Евфимиевна, в 1884 году сама переселилась в Токио, чтобы служить в православной миссии в качестве диакониссы.

Между тем со стороны шовинистов и фанатиков-буддистов началась неприязненная агитация против постройки собора. Собор строился на самой высокой точке Токио, и колокольня его, достигавшая почти 40 метров, действительно возвышалась над всей столицей. Подозрительные японцы вообразили, что колокольня строится как наблюдательный пункт для русских шпионов. Началась враждебная кампания почти всей печати.

Епископ Николай писал об этом:

«Каких только проектов ни строили, чтобы «сделать безвредной» или совсем «исхитить из вражьих рук» эту неприятельскую крепость, сооружаемую среди столицы и на таком возвышенном месте, что оттуда будто бы император в своем дворце может быть наблюдаем во всякое время и при всех занятиях! Одни предлагали воздвигнуть гору, которая закрывала бы императорский дворец от храма; другие — обнести храм такой высокой стеной, чтобы с крыши его нельзя было видеть дворца; третьи советовали за миллион купить храм и подарить его императору»¹⁵⁾.

Однако постепенно газетная шумиха улеглась. Торжественное освящение собора 21 февраля 1891 года не вызвало никаких враждебных демонстраций со стороны язычников.

На торжество освящения собора собралось со всей страны 19 японских священников, более 4.000 христиан. Пел под управлением Львовского хор из 150 голосов семинаристов и учениц духовной школы.

Храм вполне соответствовал замыслу преосвященного Николая.

«Собор будет памятен, писал он, будет изучаем, подражаем многие — не десятки, а — смело говорю — сотни лет, ибо храм положительно замечательнейшее здание в столице Японии, — здание, о котором слава разнеслась по Европе и Америке еще прежде его окончания и которое,

¹⁵⁾ Прибавление к «Церковным Ведомостям», № 13, 1891 г.

будучи окончено, по справедливости вызывает внимание, любопытство и удивление всех, кто бывает в Токио»¹⁶⁾.

После землетрясения 1923 года Канда — район Токио, в котором расположен Суругадайский холм — вновь был застроен, но теперь уже как чисто деловой, торговый район. После Второй мировой войны часть города вокруг собора окончательно слилась с Токийским «сити» и была застроена бетонными зданиями в 7-8 этажей, вплотную обступившими «соборную горку». Но и сейчас купол с освещаемым ночью восьмиконечным крестом настолько выделяется над силуэтом города, что им пользуются как одним из ориентиров пилоты приближающихся к Токио самолётов.

¹⁶⁾ Прибавление к «Церковным Ведомостям», № 13, 1891 г.

Библиография

Философия живописи

Кандинский вошел в историю мирового искусства как один из основоположников беспредметной живописи. Первой абстрактной картиной считается акварель Кандинского 1910 года. Имя его широко известно на Западе, но полностью замалчивается в СССР. И поэтому можно только приветствовать издание — впервые на русском языке! — книги Кандинского «О духовном в искусстве». Предвестником ее была статья Кандинского «Содержание и форма» в каталоге второй международной выставки в Одессе, организованной Издебским в 1910 году. Сегодняшний русский читатель со взглядами этого оригинального теоретика живописи фактически не знаком. Особенно в наши дни, когда молодежь в России жадно ищет духовной пищи, мысли Кандинского, его смелая постановка вопроса и абсолютная независимость суждений вызовут живейший интерес.

Собственно говоря, это — записи мыслей художника, его рабочая тетрадь. Сам Кандинский говорит в предисловии, что книга «является результатом наблюдений и душевных переживаний»; на эту тему он хотел написать книгу большего объема, но в силу обстоятельств ему пришлось ограничиться пределами «простой схемы и довольствоваться указанием на величину проблемы». Вероятно, этим и объясняются некоторые противоречия в аргументации и наметка «пунктиром» такой кардинальной для творчества темы, как традиция — новаторство. Но тем не менее эта небольшая книжечка — около 130 страниц авторского текста — не устарела и по сей день.

Написанная на немецком языке, впервые вышедшая в мюнхенском издательстве Пипер в декабре 1911 года, она выдержала в первый же год три издания. Как отмечает жена автора, «об этой книге тогда говорили, как о новом Евангелии в жизни искусства». С тех пор книга «О духовном в искусстве» вышла на английском (3 издания), итальянском, японском (9

Василий Кандинский. О духовном в искусстве. Предисловие Нины Кандинской. Перевод с немецкого Андрея Лисовского. Изд. Международное Литературное Содружество, Нью-Йорк 1967.

изданий), французском (6 изданий), голландском, испанском и немецком (7 изданий) языках. Выходу книги на русском языке помешала война 1941 года. Правда, с ее содержанием многие русские художники были знакомы, т. к. о книге был сделан Н. И. Кульбиным доклад на заседании Всероссийского съезда художников в 1911 году и были прочитаны некоторые ее главы. Несомненно, мысли Кандинского оказали сильное влияние на левых русских художников, в частности, на Малевича — основоположника так называемого супрематизма.

Книга «О духовном в искусстве» не была издана в России и в бытность там Кандинского в 1914–21 годы, хотя Кандинский был сотрудником Луначарского и членом коллегии ИЗО Наркомпроса. Вероятно, потому, что взгляды Кандинского на искусство диаметрально отличались от утилитарного подхода к нему руководителей «пролетарской культуры» из ИНХУКа (Институт художественной культуры), которые обвиняли Кандинского в символизме.

В книге две части, в каждой из которых по четыре главы: А. ОБЩЕЕ. — I. Введение, II. Движение, III. Поворот к духовному, IV. Пирамида; Б. ЖИВОПИСЬ. — V. Действие цвета, VI. Язык форм и красок, VII. Теория, VIII. Произведение искусства и художник, Заключительное слово. Написана книга «конспективным» языком, часто мысли изложены по пунктам, и некоторые из них просятся в записную книжку как афоризмы.

Одно из главных мест в искусстве всех времен занимает взаимосвязь природы и творчества. Платон понимал искусство как синтез природы и духа. На протяжении веков этот вопрос волновал не один ум. Не мог обойти его и Кандинский. Свои выводы он подкрепляет ссылками на ряд великих людей. Так, Гёте считал, что «художник своим свободным духом стоит выше природы и может трактовать ее в соответствии со своими высшими целями», а О. Уайльд утверждал, что «искусство начинается там, где кончается природа», и т. д.

Сам же Кандинский пишет так:

«В наше время мы еще крепко связаны с внешней природой и вынуждены черпать из нее все наши *формы*. Весь вопрос теперь состоит в том, как нам поступать: — это значит, насколько мы свободны видоизменять эти формы и с какими красками мы вправе их соединять? Эта свобода может простирается настолько, насколько простирается чувство художника. Это показывает, как бесконечно важно это чувство культивировать». И в восьмой главе более конкретно: «*Короче говоря, художник не только вправе, но обязан обращаться с формами так, как это необходимо для его целей. И необходимым является не анатомия или что-либо подобное, не принципиальное пренебрежение этими науками, а только полная неограниченная свобода художника в выборе своих средств.*»

Кандинский страстно восстает против материалистического понимания

искусства, он исходит из положения, что искусство является частью духовной жизни.

Указывая на родство различных видов искусств, особенно музыки и живописи, Кандинский подчеркивает, что каждому из них присущ свой неповторимый язык, на котором художник призван выражать свой внутренний мир. Восставая против «грубо материального», он отрицает и другую крайность — «искусство ради искусства», когда «красивость» подменяет красоту, когда пренебрегают элементом «что» ради «специализации» исключительно по части «как». Тогда творчество сводится к поискам не нового содержания — внутреннего, духовного, а новой манеры под девизом «иначе». Конкуренция, погоня за успехом становятся движущими силами творчества.

Вторая часть книги — это своеобразная грамматика живописи. Кандинский анализирует такие факторы живописи, как физическое и психическое воздействие цвета на человека и приводит ряд научных доказательств тому, что «краски таят в себе мало исследованную, но огромную силу, которая может влиять на все тело, на весь физический организм человека». Исходя из этого, автор выводит закон: «Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу». Следовательно, «гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души».

Этому же закону Кандинский подчиняет взаимосвязь цвета и формы: «Вопреки утверждению чистых эстетов или натуралистов, целью которых является главным образом «красивость», красота цвета и формы не является достаточной целью для искусства». Он утверждает, что форма воздействует на цвет, поскольку «сама форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна геометрической, имеет свое внутреннее звучание, является духовным существом с качествами, которые идентичны с этой формой». И далее: «форма есть выражение внутреннего содержания». Принцип, которому художник должен подчинять форму и краски своего произведения, Кандинский называет принципом «внутренней необходимости». Анализу форм, главным образом геометрических, абстрактных, и красок Кандинский уделяет много места, и именно эта глава является ключом к пониманию дальнейшего творческого языка художника. К сожалению, здесь нет возможности остановиться на этих интереснейших наблюдениях.

«Внутренняя необходимость ...создается тремя мистическими необходимостями: 1. Каждый художник, как творец, должен выразить то, что ему свойственно (индивидуальный элемент); 2. каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще этой эпохе (элемент стиля во внутреннем значении, состоящий из языка эпохи и языка своей национальности, пока национальность существует, как таковая); 3. каждый художник, как служитель искусства, должен дать то, что свойственно искус-

ству вообще (элемент чисто и вечно художественного, который проходит через всех людей, через все национальности и через все времена...)).»

В последних строках своей книги Кандинский говорит: «...по-моему, мы все более приближаемся к эре сознательного, разумного композиционного принципа;... художник скоро будет гордиться тем, что сможет объяснить свои произведения, анализируя их *конструкцию* (в противоположность чистым импрессионистам, которые гордились тем, что ничего не могли объяснить);... мы уже сейчас стоим на пороге эры целесообразного творчества;...дух живописи находится в органической прямой связи с уже начавшейся эрой нового духовного царства, так как этот дух есть душа *эпохи великой духовности*».

Было бы очень интересно узнать, изменил ли Кандинский некоторые свои взгляды в последующие 33 года жизни, видя грубое насилие над творчеством в Советском Союзе и гитлеровской Германии, с одной стороны, и разгул «искусства ради искусства» на Западе, с другой? К сожалению, ни издательство, ни редакция об этом не подумали.

В заключение хотелось бы высказать два критических замечания. Во-первых, в книге имеются языковые погрешности, объясняющиеся слишком дословным, а не смысловым переводом с немецкого языка.

Во-вторых — иллюстрации. В книге помещены портрет (фотография) Кандинского и девять репродукций его картин, но... черно-белых! «Черно-белый Кандинский» — это 10% Кандинского, если не меньше. По замыслу автора, «репродукции служат примером трех различных источников возникновения: «импрессии», «импровизации» и «композиции». Лучше было дать по одной *цветной* репродукции картин, характерных для этих трех понятий. Ибо какой же смысл смотреть черно-белую репродукцию «В розовом ключе»?

А. Русак

Новая книга о Горьком

Пятидесятилетие большевистского переворота пробудило на Западе значительную издательскую деятельность. Появилось множество критических, мало апологетических книг о революции и меньше всего беспристрастных ученых исследований того или иного явления в этом бурном полувеке. К последней категории принадлежит труд Ф. М. Борраса. Он приу-

F. M. Borrás. „Maxim Gorky, The Writer“, Oxford University Press. 1967. 190 страниц текста, библиография и указатель.

рочен, очевидно, и к столетию дня рождения Горького, исполнившемуся в марте 1968 года.

Читатель вправе ожидать от книги, изданной Оксфордским университетом, уравновешенного и добросовестного труда и его ожидание будет вполне оправдано. Литературный талант, достоинства и слабости Горького-писателя освещены всесторонне и тщательно. Книга оставляет в стороне полемику с назойливой барабанной апологетикой большевиков вокруг писателя и не вступает в донкихотскую рукопашную с этими ветряными мельницами. Она лишний раз доказывает, что против предвзятой пропаганды достойнее всего непоколебимое утверждение истины.

О литературном творчестве Горького написано много книг, хороших и серьезных, и в России и в условиях более свободной мысли, за границей. Там разборы Воронского, Синявского, Ильи Груздева, тут Нины Гурфинкель, Георгия Адамовича, Ричарда Хэара и других. Много нового не прибавишь. Что же дает книга Борраса? В объективном предисловии она дает картину исторического развития России, на фоне которого выросла фигура Горького, и подробную оценку его мыслей и идей, и их художественного осуществления в рассказах, романах, воспоминаниях и драмах. Каждой выдающейся личности в длинной портретной галерее его героев уделен тщательный психологический анализ. Читатель найдет пристальное исследование того, как религиозные склонности Горького сплетались в его уме в неразрешимое противоречие с атеизмом, как и почему Горький уделяет особое внимание типам бродяг и наделяет их чертой героизма. «Делу Артамоновых» Боррас отводит место в «большой литературе» (стр. 118, 129), «Детство» он называет «настоящим эпосом исторической значимости» (стр. 132). Отличен разбор драмы «На дне». Боррас убедительно указывает на «сомнительное» осуждение Горьким «Обломова» Гончарова как на признак, предвещающий неудачу романа «Клим Самгин»: «самообманчивая» ненависть его к интеллигентам-либералам обрекла фигуру Клим Самгина на «нелепое ничтожество» (стр. 127-128). Со всем этим нельзя не согласиться; чувствуется, что автор мыслит самостоятельно. Мысль Горького, что русский народ должен силой собственной волевой энергии перебороть невежество и нужду, по понятным причинам нравится англичанину, несмотря на то, что его проповедь марксистской революции чужда духу Англии.

Можно поспорить о мелочах. Автор умалчивает об упреке, сделанном Горькому Толстым, что он, вероятно, не понимает женщин и что ему не удастся ни один женский тип. Он дает тонкую характеристику «Старухи Изергиль», которую Толстой явно не оценил. Но можно указать и на живую и правдоподобную личность Мединской в романе «Фома Гордеев». Poleмика Горького против Достоевского разобрана подробно, но автор не выделяет особую грубость нападок на создателя «Братьев Карамазовых»,

которые имели и последствия в общественной роли Горького. Недаром Чехов в своем письме Горькому из Ялты от 3 сентября 1899 года дружески увещевал его: «Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать — это не свойственно Вашему таланту».

Но эти пробелы, как и другие в книге, не умаляют заслуг этого вдумчивого и чуткого исследования. Однако эта книга наводит и на другие мысли. Спор Горького с Толстым и Достоевским освещен так, как будто дело идет только о литературных прениях своего времени. Известно, что самосозерцание и самоуглубление Достоевского и проповедь самосовершенствования и непротивления злу Толстого были неприемлемы для Горького, требовавшего действия извне, волевого напряжения человека и народа. По поводу выпадов Горького против «Записок из подполья» Достоевского автор замечает (стр. 43-44), что суть их разногласия заключается «в их разном понимании соотношения между силой воли и разумом». И он пишет дальше: «Горький возражал также против отвержения Достоевским разума в пользу полной свободы действия, как он это делал против возвеличения Толстым природной мудрости крестьянина над творческим умом. Однако в нем жила славная (так и сказано «glorious») иррациональная фигура русского 'озорника', находящего великое духовное удовлетворение в исключительно разрушительных поступках». Тут автор мудро ставит точку над «i», но дальше этого к более последовательным выводам не идет. Он еще сравнивает два пути, ведущие к преобразению русского народа, указанные Чеховым и Горьким. Вот что он пишет (стр. 48-49): «Что более вероятно: горьковская ли картина грязи, грубости и низости в жизни низших классов в России внушит его читателям путь к преобразению их самих, или чеховское изображение мещанства среднего класса?..» И дальше: «...нам кажется, что победа добра над злом в мире Чехова будет очень медленным и крутым подъемом, в борьбе же Горького агрессивная настойчивость и желание автора способствовать победе добра как будто обещает, что его полная победа не будет отложена надолго» (курсив мой. — А. Б.).

Получается, как будто Толстой и Достоевский находятся на одной чаше весов литературной полемики, а Горький — на другой, и весы уравновешены. Те двое «за» что-то, а этот «против» того же, и русская литература благополучно колесит по двум параллельным путям. А в сравнении Горького с Чеховым перевес даже на стороне первого, поскольку он якобы приближает торжество добра.

Такое литературное изображение этого разногласия, может быть, удовлетворяет иностранца. Для нас, русских, эта полемика уже давно утратила свой исключительно литературный характер. «Мы, дети страшных лет России», не видим в этом состязании только зрелище литературного фехтования гусиными перьями писателей. Для нас Горький-писатель занял не только свое место на сцене русской литературы, но он выступил

на арене и русской истории. И тут он проповедовал не прометеевски трагическое восстание против богов и судьбы и не американскую мудрость личной изворотливости и погони за рублем, а просто большевистскую революцию! Позволительно представить себе Горького как недостающую фигуру в «Бесах» Достоевского между Верховенским и Ставрогиным — романтика-писателя, разжигающего революционный пыл заговорщиков. Но Горький занял свое место не между Верховенским и Ставрогиным, а между Лениным и Сталиным. Он стал «буревестником», провозвестником и глашатаем их революции. Он возжелал, возлелеял и воспел бунт, восстание и мятеж. Он жил с волками, и принимал волчьи почести, и с волками выл... И торжествующая революция обернулась на его глазах петлей удава, фурией с кровавым кистенем в руках. Можно привести сколько угодно извинений в пользу Горького, что он искренне старался помогать тут и там отдельным жертвам того ужасающего умопомрачения, которое овладело его друзьями-революционерами. Но выпады Горького против Достоевского, который «в сердцах людей читал страницы злобы и порока», не могут оставаться на мелководной поверхности литературного «прения». Они уходят в глубину онтологического опыта. И остается непонятным, как автор может на пятидесятом году революции предполагать, что перо Горького, «озорника» и разрушителя, могло приблизить преобразование русского народа, между тем как накликанная им революция это преобразование только отдалила.

Александр Больто

Литературный Петербург в годы революции

Есть книги, о которых можно сказать много, очень много, но этот прием не послужит ни к чему: пересказать прекрасную книгу невозможно. И совершенно не нужно. О книге Ирины Одоевцевой следует сказать всего «два слова»: эту книгу необходимо прочесть. Можно лишь пожалеть, что ее тираж — всего лишь две тысячи экземпляров.

Ирина Одоевцева, сама выдающаяся поэтесса (автор несравненной «Баллады об извозчике» и многих других навсегда запоминающихся вещей), рассказывает о страшных, но «веселых», полных смысла, значительных по интересам, незабываемых по встречам и беседам годах (1919—1921), когда она, еще совсем юная девочка с бантом, была ученицей Гумилева, собеседницей или слушательницей других великих поэтов.

Ирина Одоевцева. На берегах Невы. Издательство В. Камкина. Вашингтон, 1967.

Тогдашний Петербург голодал и замерзал, но именно тогда в нем кипела литературная жизнь. Проходят по страницам воспоминаний Ирины Одоевцевой и Блок, и Мандельштам, и Сологуб, и Андрей Белый, и Ахматова, и Кузмин, и Георгий Иванов, и Адамович, и Н. Оцуп, и К. Чуковский и множество других. Ирина Одоевцева говорит о них прежде всего как о поэтах, но и как о людях — об их чувствах и привязанностях, об их внешности, одежде, манере говорить и читать стихи.

Отношение Одоевцевой к Блоку и Ахматовой трудно назвать иначе, чем благоговение. О Гумилеве она говорит как об учителе и друге. О Мандельштаме — с восхищением и глубочайшей жалостью. За ширмой простоты она видит внутреннюю сложность Кузмина. За окаменелостью Сологуба — большую боль.

Пишущему эти строки было откровением, в частности, то, что Ирина Одоевцева рассказала — со слов самого Гумилева — о том, как он написал «Заблудившийся трамвай». Вместе с тремя или четырьмя другими, это совершенно не акмеистическое «заумное» стихотворение, пришедшее к поэту все целиком в один день, наводит на мысль о тех неисчерпанных возможностях, которые унес с собою Гумилев. Не случайно другое аналогичное стихотворение — «У цыган» — было написано «дней через десять» после «Заблудившегося трамвая».

«На берегах Невы» — полноценная, замечательная книга. При чтении ее не хочется замечать довольно многочисленных опечаток и неточностей в цитатах, постоянное «не» на месте «ни», «о» на месте «об» и «об» на месте «о». Эта книга — не докторская диссертация, а повесть не только свидетеля истории, но и ее участника. И можно предвидеть, что в будущем и «Петербургские зимы» и «На берегах Невы» послужат стимулами и бесценными справочниками для писателей, которые задумают написать романы из жизни Гумилева, Блока, Ахматовой, Мандельштама или Сологуба.

Валерий Перелешин

Берег „Нет человека“

В книге Анатолия Дарова имеется множество поучительных советов и изречений, иногда спорных, но большей частью весьма удачных и не лишенных злободневности. Одно из них мне почему-то запомнилось особенно твердо: «Я посоветовал бы всем русским писателям — советским и ан-

Анатолий Даров. Берег «Нет человека» (Афон современный и вечный). Изд. газеты «Россия», Нью-Йорк, 1966.

тисоветским, или просто русским, но особенно эмигрантским — побывать на Афоне. Ведь их так мало... Пожалуй, меньше, чем монахов... Но все-таки, брат писатель, если поедешь на Афон, не забудь записную книжку. Не верь Паустовскому, что это не обязательно. Потом всегда все вспоминается в перевернутом свете. Да и неповторимость впечатлений — сама по себе талант, заменить ее памятью или вдохновенными воспоминаниями невозможно...»

Не знаю, брал ли с собою на Афон А. Даров записную книжку или не брал, написана ли его книга по памяти или же под влиянием непосредственных впечатлений, «неповторимость которых является особым талантом», — но написал он книгу свою «кровью своего сердца», а потому получилась она значительною по своему содержанию и необычной по своей форме.

Заголовок книги гласит: «Берег «Нет человека», а в скобках напечатано: «Афон современный и вечный». Эти два плана — «вечный» и «современный» — в книге Дарова с самого начала и до конца смешиваются и вплетаются один в другой, что придает его книге особую яркость и остроту.

А. Дарову удалось пробыть на Афоне только пять дней. Возможно, что ему не удалось все увидеть, но понял он нечто самое главное. Поэтому многое и о многом смог написать он в своей книге. О многом давнопрошедшем Даров умело и своевременно напомнил читателю. О многих современных событиях, бытовых, общественных и политических нравах написал Даров со свойственным ему талантом, негодуя и гневно. Гнев далеко не всегда бывает источником беспристрастия и справедливости, но, читая книгу Дарова об Афоне, его иронические описания отношений греческой администрации к паломникам, его страстные и остроумные замечания по поводу брошюры «философа» и «историка» Милонакоса, — трудно читателю не разделить авторское возмущение и его глубокое искреннее негодование.

Однако главное в книге А. Дарова — это скорбь по поводу быстрого и, по-видимому, неизбежного умирания русского Афона... Рушатся древние стены русских монастырей, гибнут почти беспризорные, великолепные, похожие на дворцы храмы, сгорели огромные гостиницы для паломников, сгорела бесценная библиотека, погибли 25 тысяч уникальных томов и рукописей, собранных архимандритом Михаилом... Все рушится, горит, уничтожается временем: «Нет человека!» Живет на Афоне только несколько стариков-монахов, нет у них ни физических сил, ни материальных возможностей поддерживать то прежнее великолепие, которое когда-то бережно, любовно и жертвенно создавалось и поддерживалось русским народом, русским правительством и вообще всей Православной Россией...

Нет теперь России. Неоткуда теперь ожидать притока новых людей и материальных средств. Очень поредела и русская эмиграция, да и потеряла она ныне «жажду духовного подвига», и трагическое обращение архиманд-

рита Николая «ко всем православным русским людям, в рассеянии сущим», осталось без отклика. Это глас вопиющего в пустыне...

«Нет человека!» Из нескольких сот русских монахов, проживавших некогда на Афоне, осталось всего несколько человек. Они слабы телом, они вымирают, но они бодры духом, они верят... Во что?

«Когда-то — пишет Даров — явилась во сне Петру Афонскому Матерь Божия и сказала: «Гора Афонская есть Мой жребий». Поэтому верят старцы-монахи, что Афон не может пропасть. Поэтому один из этих старцев и ответил на тревожный вопрос автора: «После нас не потоп, а Матерь Божия».

Пожелаем же талантливому автору, чтобы книга его об Афоне избежала участи воззвания архимандрита Николая и не сделалась гласом вопиющего в пустыне.

Арк. Слизской

Заметки о книгах

Margarete Buber - Neumann. Kriegsschauplätze der Weltrevolution. Ein Bericht aus der Praxis der Komintern 1919-1943. Seewald Verlag, Stuttgart 1967.

Уже первая книга М. Бубер-Нойман — «Als Gefangene bei Stalin und Hitler» — принесла автору мировую известность: она выдержала много изданий, переведена на 16 языков. Тепло была встречена и вторая книга — «Von Potsdam nach Moskau». А теперь перед нами лежит новый том, объёмом более пятисот страниц, с массой интереснейших фотографий. Посвящено это большое исследование теме, об отдельных сторонах которой хотя и много писалось, но обычно односторонне, по частным случаям (книги перебежчиков, главным образом) или предвзято и порою несерьёзно (с позиций поисков «руки Москвы» в любых событиях на Западе). Это же исследование Бубер-Нойман документально и обосновано ссылками на источники (в подавляющем большинстве это официальные издания Коминтерна, что особенно ценно!). Кроме того, оно охватывает все важнейшие боевые акции, как спровоцированные непосредственно Коминтерном, так и возникшие спонтанно, но Коминтерном использованные.

Вполне естественно, что событиям в Германии уделено особое внимание: эти события наиболее близки автору, а часть их прошла на его глазах. Здесь зачастую личные моменты вплетаются в историческую хронику, — надо сказать, что изложение от этого лишь выигрывает. Другие «боевые

театры», рассмотренные в книге, — Китай, Испания, Бразилия. Немного сказано и о подрывной работе Коминтерна в колониальных странах.

Можно утверждать, без риска ошибиться, что этой новой книге Бубер-Нойман суждена также мировая известность, что она будет переиздаваться и переводиться на другие языки. Поэтому необходимо посоветовать автору расширить текст, привлекив серьёзные мемуарные материалы (преимущественно на русском языке) избравших свободу советских дипломатов, эмиссаров и других агентов Коминтерна, Разведупра, управлений разведки и контрразведки советских органов госбезопасности.

Необходимо также исправить отдельные досадные ошибки, попавшие в книгу. Укажем, например, что имя председателя Кронштадтского ревкома (март 1921 г.) Петриченко искажено на Периченко — как в тексте, так и в указателе имён. На фотографии, изображающей встречу амнистированного Макса Гольца, указан 1923-й год; но не относится ли она к июлю 1928 года? Между прочим, о смерти Гольца в СССР в то время курсировала иная версия: он был, — так говорилось, — убит чекистами не в Горьком, а в Сочи; два или три человека повезли его в открытом автомобиле на прогулку в горы; обратно машина вернулась уже без Гольца.



Heinz und Elfi Barwich. Das rote Atom. Scherz Verlag, München 1967.

Еще лет двадцать назад на Запад проникли слухи о совершенно секретном атомном центре в Сухуми, где работают якобы немецкие ученые. Слухи эти упорно держались и дальше, но ничего конкретного оттуда не проникало. Теперь наконец имеется полное описание структуры и деятельности этого атомного института, притом с первых дней его существования.

Гейнц Барвих был учеником большого ученого Густава Герца. Последний, как и автор книги, принял в 1945 году предложение выехать в Советский Союз для научной работы. Барвих излагает мотивы своего решения, подробно описывает свою деятельность в Сухумском и Уральском атомных центрах, в Дубне, в Восточной Германии. Из последней, в сентябре 1964 года, он ушел на Запад. Но уже в апреле 1966 года, в возрасте всего 54-х лет, он умер в Кёльне от болезни сердца.

Барвих как бы чувствовал близость своего конца и спешил написать книгу о всём пережитом в СССР и в «ГДР». Большая часть книги написана им лично. Уже больной, он диктовал жене последнюю главу, а также оставил ей наброски пропущенных глав, по которым Эльфи Барвих и смогла восстановить весь текст. Полностью ею написана одна глава — об атомном центре в Дубне.

Написанная, казалось бы, несколько сухо, изобилующая техническими деталями, книга эта тем не менее читается с захватывающим интересом. Не только картина полностью изолированных от внешнего мира атомных лабораторий, их уклад и условия работы и жизни в них изложены подробно и объективно, но и описаны люди, с которыми автору пришлось иметь дело. А круг их был всё же обширен: начиная от Берии и генералов и офицеров госбезопасности и до эжков — разысканных в концлагерях Сибири и Крайнего Севера специалистов, еще не уничтоженных чекистами. Профессор Крутков, например, физик-теоретик, во многом похож на другого эжка — физика Сологодина в Солженицынском «В круге первом». А ученых, советских и иностранных, Барвиху пришлось перевидать очень много: А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов, Соболев, Кикоин, Ландау — ограничимся этими немногими именами. Но нельзя не упомянуть о двух советских агентах, и до сих пор благополучно действующих, но уже не на поприще шпионажа — один в СССР, другой — в Восточной Германии. Это — Бруно Понтекорво и Клаус Фукс. С ними обоими автору пришлось общаться.

Барвих успешно работал в Советском Союзе, помогая созданию и совершенствованию атомного оружия, хотя условия часто никак не благоприятствовали экспериментам и теоретическим исследованиям. «Норма Барвиха» и «новая теория Барвиха», вошедшие в обиход советских атомников, изложены, правда, лишь в засекреченных отчетах, доступных там очень ограниченному кругу лиц. Но в своей книге Барвих говорит об их сути. За свои работы он был награжден в СССР сталинской премией и орденом Трудового красного знамени, а в «ГДР» он получил «государственную премию 1-го класса» и ряд других наград. Но отсутствие свободы, постоянная слежка и прочие прелести коммунистического фашизма побудили его вырваться в свободный мир.

То обстоятельство, что книга готовилась к печати его вдовой, сказалось в некоторых мелочах, с которыми Эльфи Барвих не знакома. Так, она говорит о каком-то зелёном мысе в Батуми, тогда как Барвих был, конечно, именно на Зелёном мысу, где расположен Батумский ботанический сад. В строках мужа о сухумской флоре она ставит знак равенства между Buchsbaum и Eisenbaum, тогда как это совершенно разные деревья: самшит (в качестве редчайшего реликта уцелевший в древесной форме в ряде пунктов Кавказа) и железное дерево. В главе о Дубне, написанной женой, основное внимание уделяется более близкой ей бытовой стороне, а не исследовательским вопросам. Но эти мелочи, конечно, никак не снижают огромной ценности и интереса разбираемой книги.

Т. К. Чугунов. Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. Изд. автора, Мюнхен 1968.

Четыре года тому назад Т. К. Чугунов выпустил первую свою книгу, также посвященную положению крестьянства в эксплуататорской системе советского хозяйства (*Die staatliche Leibeigenschaft. München 1964*). «Грани» отметили эту книгу обстоятельной рецензией в № 58 (С. Кирсанов — Анализ социалистической системы сельского хозяйства). Вышедшая теперь на русском языке книга является расширенным изложением мыслей автора: в первой книге было менее двухсот страниц, в разбираемой — более пятисот.

Автор применил очень удачный, по нашему мнению, приём: он взял одно село в Орловской губернии, в котором сам вырос и которое многократно посещал в последующие годы, когда стал жить в городе. На конкретном примере этого села Болотного (условное название) и окружающих его сёл и деревень автор прослеживает все этапы судьбы крестьянства. Местами он еще более конкретизирует изложение, прослеживая судьбы отдельных крестьянских семей. Всё это придаёт книге документальность и убедительность, и она действительно может быть названа летописью. Хорошо обрисованы также типы разных «проводников» доктринёрского партийного самодурства в деревне, от лодырей и пьяниц комбеда до партийных хапуг-председателей, часто в сельском хозяйстве ничего не смыслящих.

Во второй части книги («Нищета колхозная») обобщаются данные о колхозном быте в послевоенные годы (1945-1967) по разным областям СССР. Третья, последняя, часть — «Колхозная деревня в литературе». В ней взяты три произведения (А. Кулаковского, А. Андреева, А. Яшина), освещающие положение в колхозах Белоруссии, Воронежской и Вологодской областей. Кроме того, приведены образчики частушечного творчества — по сборнику «Курские частушки», изданному в 1960 году.

Как и о первой книге автора, о разбираемой также можно сказать, что она заслуживает рекомендации «как безусловно полезное пособие каждому интересующемуся проблемами социалистического хозяйства СССР, особенно же положением крестьянства».

Об одном лишь следует пожалеть — о недостаточной доработанности текста. Следовало бы исключить многочисленные повторения, оставляющие неприятное впечатление и снижающие уровень полезной книги. Само изложение, особенно во второй и третьей частях, следовало бы сделать более «собранным» и не таким многословным.

Н. М. Мельников. А. М. Каледина, герой Луцкого прорыва и Донской атаман. Издание «Родимого Края», Мадрид 1968.

29 января 1968 года исполнилось 50 лет со дня трагической смерти Алексея Максимовича Каледина, первого выборного (после более двухсот лет перерыва) атамана Войска Донского. Памяти его и посвящена эта книга. Автор её — бывший товарищ председателя, а затем председатель Войскового Круга и последний возглавитель Донского Войскового правительства. Он был одним из ближайших сотрудников А. М. Каледина и многое из того, о чем пишет, пережил вместе с атаманом. Благодаря дружной поддержке казачьей общественности, автор смог использовать в работе над книгой, помимо печатных изданий, также архивные материалы и неопубликованные воспоминания ряда лиц. В целом, книга воссоздаёт отчетливо и полно облик выдающегося полководца и жертвенного возглавителя казачества.

Заключительный раздел книги — стихи, посвященные атаману Каледину — показывает, с какой любовью к нему и печалью о его судьбе пишут о нем казачьи поэты. Здесь стихи Н. Туроверова, Н. Евсеева, М. Залесского и многих других.

Рекомендуя книгу читателям, считаем возможным указать — откуда она может быть выписана (т. к. обычной коммерческой рекламы этой книге не делается):

B. Bogaevsky. 230, Avenue de la Division-Leclerc 95 — Montmorency, France. Цена книги 5,50 долл.

Ив. Сергеев

„Слово о полку Игореве“ в испанском переводе

В декабре 1967 года в Аргентине вышел отдельной книгой, впервые на испанском языке, перевод «Слова о полку Игореве». Перевод, вступление и примечания Якова Малкеля и Марии Розы Лидии Малкель.

Переводчики в своей интерпретации текста следовали за Романом Якобсоном, новейшие исследования других русских и украинских ученых ими приняты во внимание не были, что, впрочем, для переводчиков и не обязательно.

Перевод, в общем, верен тексту, хотя несколько суховат. Но это вина не столько переводчиков, сколько самого испанского языка, который, подобно другим новороманским языкам, развит крайне односторонне: та гибкость, которая необходима при переводе на данный язык, у него отсутствует.

«Русь» оригинала переведена как «Rusia» — «Россия», хотя Киевская Русь называлась в свое время в Европе Рутенией (а половцы — куманами).

Книга издана скромно, формат — карманный, тираж, как это принято в Аргентине, не обозначен.

И. Качуровский

Список книг, поступивших в редакцию

Боброва, Элла. Ирина Истомина. Повесть в стихах. Изд. «Современник», Торонто 1967. Стр. 87.

Кадесников, Н. З., инж.-мех. лейтенант. Краткий очерк Белой борьбы под Андреевским флагом на суше, морях, озерах и реках России в 1917 — 1922 гг. Изд. автора, Нью-Йорк 1965. Стр. 110 + 6 вкл. (фото).

Перелешин, Валерий. Южный дом. Пятая книга стихотворений. Изд. автора, Мюнхен 1968. Стр. 48.

Тарсис, Валерий. Собрание сочинений, т. 12. (Седая юность. Рассказы, написанные иголками в уголках глаз). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1968. Стр. 292.

Чугунов, Т. К. Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. Изд. автора, Мюнхен 1968. Стр. 510.

Курганов, И. А. Женщины и коммунизм. Положение женщины в СССР. Издание автора, Нью-Йорк, 1968. Стр. 264.

Сахаров, А. Д. Академик АН СССР. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1968. Стр. 64.

Окуджава, Б. Проза и поэзия. Третье, дополненное и исправленное издание. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1968. Стр. 320.

Bergmann, Uwe; Dutschke, Rudi; Lefèvre, Wolfgang; Rabehl, Bernd. Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition. Eine Analyse. Mit Vorwort und Anhang von Günther Amendt. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 1968. S. 190.

Buber-Neumann, Margarete. Kriegsschauplätze der Weltrevolution. Ein Bericht aus der Praxis der Komintern 1919 — 1943. Seewald Verlag, Stuttgart 1967. S. 522 + 2 + 8 Bl. Fotos.

Debray, Régis; Castro, Fidel; Karol, K. S.; Mandel, Gisela. Der lange Marsch. Trikont Verlag, München 1968. S. 277 + 7.

Guevara, Ernesto Che. Der Partisanenkrieg. cicero presse, Hamburg, 1968. S. 8 + 150.

Hutter, Clemens M. Der schmutzige Krieg. Alternative zum Atomkrieg. Salzburger Nachrichten Verlags-GmbH, Salzburg 1968. S. 175.

- Materialien zur Revolution in Reden, Aufsätzen, Briefen von Fidel Castro, Che Guevara, Regis Debray. Joseph Melzer Verlag, Darmstadt 1968. S. 264.
- Sjeklocha, Paul and Mead, Igor. Unofficial Art in the Soviet Union. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1967. Pp. XV + 213. (С 86 репродукциями, частью цветными).
- Steinbuch, Karl. Falsch programmiert. Über das Versagen unserer Gesellschaft in der Gegenwart und vor der Zukunft und was eigentlich geschehen müßte. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1968. S. 176.
- Sacharow, A. D. Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Memorandum. Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit. Possev-Verlag, Frankfurt/M. 1968. S. 62.

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Гарвардском Университете составляется **БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1918 — 1968 гг.**

Всех, опубликовавших беллетристику, воспоминания и литературную критику отдельными изданиями или в журналах, просят присылать сведения, включающие название, жанр, издательство (или журнал), город, год, количество страниц по адресу:

Ludmila A. Foster
29 Concord Ave., Apt. 712
CAMBRIDGE, Mass. 02138
U.S.A.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

**ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности, на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

КНИГИ

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

С. А. ЛЕВИЦКИЙ

Очерки по истории русской философской и общественной мысли

Страниц 216

Цена: 12 н. м. или 15 фр. фр. или 3.50 долл.

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Письма из русского музея

«Письма из русского музея» В. Солоухина пересняты из журнала «Молодая гвардия» № 9 и № 10 за 1966 год.

Следующее издание «Писем из русского музея» выпущено отдельной книжкой в 1967 году издательством «Советская Россия» (Москва) с сильными цензурными сокращениями.

Цена 4,80 н. м., в США и Канаде 1,25 доллара

СЕРГЕЙ ЛЕНСКИЙ

НА ЧУЖБИНЕ

СТИХИ

В этом сборнике стихов — четыре части. **I. Воспоминания:** Волны. В поезде. На лодке. В лесу. Вечер. Траурный трехлистник и др. **II. Песни Родине:** Мать и мачеха. Богатыри земли русской: Алексеев, Корнилов, Марков, Колчак, Врангель, Дроздовский, Деникин, Каледин, Каппель, Кутепов, Миллер, Власов. Набат. Двенадцатый час. Красному молоху и др. **III. Собратьям и небратьям по перу:** Игорю Северянину, Блоку и Уитману, Лермонтову, Марине Цветаевой, Сергею Есенину, Шолохову и его «товарищам» и др. **IV. Богу и людям:** Сантьяго. «Вера без дел». Молись! «Не о едином хлебе». О, люди-братья и не люди! и др.

В книге 100 стр. Цена 2 ам. доллара. Издание и права автора.

Заказывайте в издательстве:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15
Germany

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

Г Р А Н И

Подписная плата на 4 номера журнала «Грани» (в год),
включая пересылку следующая:

В США и Канаде

При подписке непосредственно из издательства — дол. 7. —
При подписке через представителей и книжные магазины
— дол. 10. —

В Германии и во всех других странах

При подписке непосредственно из издательства — НМ 26.00
При подписке через представителей и книжные магазины —
НМ 30.00

Цена в розничной продаже с 1 января 1968 г.

Цена отдельного номера в США и Канаде — дол. 2.50
Цена отдельного номера в Германии и во всех других странах —
НМ 7.50 или эквивалент в местной валюте.

Подписную плату следует посылать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по
адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M 80, Flurscheideweg 15,
а также банковским переводом:

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.

Из Германии подписную плату можно переводить и на
Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.

Отдельные номера журнала можно выписывать из издательства по
указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

**КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.**